

Александр Клягин

Страна
возможностей
необычайных

Предисловие
и. А. Бүнина



АЛЕКСАНДР КЛЯГИН

СТРАНА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
НЕОБЫЧАЙНЫХ

Предисловие И. А. БУНИНА

ПАРИЖ

**Tous droits de traduction et de reproduction réservés
pour tous pays, y compris l'U.R.S.S
Copyright par l'Auteur.**

Мне хочется сказать несколько слов об авторе этой книги и обратить на него внимание читателей потому, во-первых, что он в некотором роде мой литературный крестник, что это я побудил его взяться за перо, и потому, во-вторых, что я считаю его одним из даровитейших русских людей, необыкновенно много видевшим и испытывавшим на своем веку, за долгие годы своей неустанной и разнообразной практической деятельности, истинной страсти всей его жизни, неожиданно ставшим на моих глазах еще и весьма своеобразным писателем.

Я познакомился с ним на югѣ Франции, в Грассѣ, где мы оба проводили годы войны, — английская вилла, на которой я жил, оказалась в ближайшем соседстве с его собственной великолепной виллой, и мы часто коротали на ней время в наших долгих беседах, делились газетными вестями, тайком от врагов, повсюду сидевших вокруг нас в оккупированном Грассе, слушали радио... Без конца рассказывал он мне в эти часы и о своей удивительной жизни — с живостью тоже совершенно удивительной для его возраста. Так и узнал я, что этот миллионер, уже четверть века живущий во Франции и ставший французским подданным, родился и рос в орловской деревне, в очень и очень скромном имении своего отца, человека из народа, и чуть не с детства

проявил ту стойкую энергию своей натуры, что уже никогда не покидала его впоследствии: кончив в 903 г. орловскую гимназию, он в том-же году, преодолев труднейший конкурс, поступил в Петербургский Технологический Институт, лето следующего года провел на железнодорожной практике помощником машиниста в Польше, затем, когда студенческие волнения прервали занятия в Институте, нанялся простым рабочим на постройку в пустынных прикаспийских степях Астраханской железной дороги, — ни противодействие, ни гнев отца не сломили упорства юноши, мечты которого простирались гораздо далее мирького наследственного существования в брянском селъце Карпиловке. Не сломили его и жесточайшие условия жизни в этих голых песчаных степях, летом нестерпимо знойных и доисторически кишящих змеями, тарантулами, скорпионами, осенью поливаемых непрестанными дождями, зимой заносимых вьюгами, — благодаря своей редкой трудоспособности и одаренности, он вскоре настолько выдвинулся по службе, что назначен был участковым техником. В ту-же пору свалилось на него и первое его богатство: зоркий взгляд, русская сметка навели его на смелую мысль начать раскопки в окрестных песках, поиски под ними камня, который так необходим был для постройки дороги, и этот камень, к великому удивлению всех сослуживцев участкового техника Клягина, в конце концов нашелся, оказавшись остатками какого-то давно погребенного песками города. Продав этот камень, Клягин вернулся в Петербург уже обладателем некоторого состояния, чтобы продолжать учение в Институте и дать прибыльный ход своему капиталу, вложив его в предприятия какого-

то вскоре прогоревшего общества, стал снова нищим, но ни на минуту не пал духом: открыл автомобильный гараж, при гараже мастерскую для починки автомобилей — и целых два года, изо дня в день, работал по 15, по 18 часов в сутки, учась в Институте, добывая средства к существованию гаражем, и настолько изучил с течением времени автомобильное дело, что уже нередко стал участвовать в автомобильных гонках в России и за границей...

Дальнейшая карьера этого русского американца была блестяща: кончив Институт, он снова на постройке железной дороги — на этот раз Амурской, служит инженером в восточной Сибири, затем состоит при Начальнике по постройке всех железных дорог России и посещает по службе ее многие окраины: Туркестан, Закавказье, южный Кавказ, северные русские области... В 912 г. переводится в Петербург, в Министерство Путей Сообщения, командировается за границу для наблюдения за усовершенствованиями железнодорожной техники... Война 914 г. захватывает его в Бельгии, откуда он пешком добирается до Парижа, находится тут некоторое время при нашем Посольстве и с последним пароходом возвращается через Дарданеллы в Россию. В России, назначенный на постройку Мурманской железной дороги, заканчивает в 916 г. укладку ее рельсового пути, соединив в девять месяцев Ледовитый Океан с Петербургом линией в 1400 километров, затем командировается в Англию и Францию представителем Министерства Путей Сообщения — и, застигнутый в Европе русской революцией, навсегда поселяется во Франции...

Не мое дело рассказывать о всей последующей деятельности автора этой книги, — отмечу еще толь-

ко одно: то, насколько этот русский американец все же остался прежде всего русским человеком и каким крепким русским духом, складом и ладом полны его богатые повествования.

Ив. Бунинъ

7 янв. 47г.

«МАРСА ВТОРАЯ»
(ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ)

Экспресс «Париж — Африка» плавно остановился перед длиннейшим морским вокзалом Марселя. Носильщики в синих блузах и черно-красных кушаках прыгали на подножки вагонов еще до остановки поезда, кричали, старались заполучить побольше клиентов, — пассажиров приехало мало. И кто мог ехать в жаркую Африку в июле тридцать пятого года? Кое-кто из французов по неотложным делам, чиновники да арабы, — туристов, иностранцев, не было совершенно.

На этот раз в Тунис направлялись почти исключительно военные да несколько штатских французов, возвращавшихся из отпуска на место службы в Африку.

Из купе первого класса вышел пожилой пассажир среднего роста, с седной на висках: носильщик с чемоданом быстро провел его в портовую таможену. Досматривать было нечего, формальности недолгие: через несколько минут была указана пассажиру и его каюта с выходом на палубу на пароходе «Марса Вторая», который шел этим рейсом в Тунис.

— В последний раз идет наша старуха! — сказал лакей парохода, укладывая чемодан в сетку каюты: — Вернемся в Марсель, на убой пойдет! Время свое отслужила...

Хорошо было знакомо пассажиру это судно, даже каюта, которую отвели ему в этот раз. Ничто в ней не из-

менилось, лишь все постарело, стало грязней. «И правда, пора ему на покой!» — подумал он, оглядываясь вокруг. Сколько воспоминаний было связано для него с этим пароходом за пятнадцать почти лет, в течение которых по несколько раз в год приходилось ему по делам ездить в Африку!

Жара в каюте стояла нестерпимая несмотря на вентилятор, тянуло на воздух. Пассажир вышел на палубу, прошелся вокруг судна: местами краска пожелтела, облупилась; под ней то там, то здесь виднелась ржавчина, дерево потрескалось, стыки разошлись, красота строения давно пропала.

Спасательные шлюпки под чехлами, наглухо прихваченные к палубе, обещали на этот раз хороший переход. Пахло суриком, мазутом, дымом из трубы.

Толпа провожавших на пристани перекликалась с отъезжающими; те махали платками, посылали прощальные приветы, — им отвечали с берега...

Пожилый пассажир улегся в раскидное кресло на теневой стороне палубы, любуясь рейдом и зеркально чистым морем по другую сторону длиннейшего мола. Море было пусто, лишь две-три рыбацких лодки виднелись вдали у скалистого берега, — какие-то марсельцы забавлялись ловлей донными удочками «раскассов» для «буйабеза» — ухи южан Франции.

— «Удивительный народ — мои новые соотечественники», — усмехнулся пассажир, оглядывая бесконечный водный простор. «Ведь Франция — вторая морская держава в мире. Окружена она морями, океанами; ее Средиземное море — изумительно, Ламанш — интересен от начала до конца, океан — полон неожиданностей, прелестей; береговая линия Франции огромна, изрезана, с богатым прибрежным населением, — а моря Франции,

как вот и это сейчас, пусты, океан ее покинут. Какого бы он ни был класса общества, француз станет на борт парехода, сядет в лодку, лишь по необходимости, как бы принеся себя в жертву. Морское путешествие он считает за подвиг; красота морей ему непонятна, чужда. Жизнь на воде, вдали от пыли, гудрона, от суеты людской его не привлекает».

Замелькали в памяти картины морской жизни в Швеции, в Финляндии, на балтийском побережье России, с их холодными морями, массой островов, мелей, трудностями ориентироваться среди них, непостоянством погоды, ветрами... И все же мечта почти каждого финна, норвежца или шведа — купить, нанять на время, занять у товарища моторный катер, парусную лодку, что угодно, лишь бы провести на море, на vela, неделю, месяц, сколько позволяют ему его средства, отпуск. И море там — покрыто яхтами, судами, оно живет летом, весной. Семьями, с друзьями, зачастую одинокие, северяне проводят летние месяцы на воде, наслаждаются, отдыхают; рискуют иногда, но закаляют тела, характер, набираются сил и здоровья... Не то — во Франции. Кто-то владеет и здесь моторным катером, яхтой, рыбацкой лодкой, но или из снобизма, или как средством заработка: выходят на них в море, но не из любви к нему, а по необходимости, или же для того, чтобы «показаться», каждый раз с боизнью, с болью в сердце... А какие во Франции заливы, какие морские путешествия! Изобилие прибрежных городов, старинных, примечательных, каждый со своей историей, легендами, курьезными обычаями... Острова один другого красивее, доступнее... Но не для французов. Почти каждый из них хорошему катеру предпочтет даже подержанный автомобиль, какую-нибудь «гимбарду», лишь бы остаться на твердой земле. Да самому сидеть за рулем... Даже французы моряки-

профессионалы, кто из них стремится к морю в свободное время, кто тоскует по нем? Один из тысячи!

Третий гудок «Марсы Второй» проревел; пароход, не елеша, начал отчаливать. Портовые буксиры, с зелеными и красными огнями, взяли его за нос, за корму, медленно, но упорно, как муравьи, стали оттягивать от пристани, поворачивая огромное по сравнению с ними судно к створам порта. Корпус парохода задрожал, машины его заработали, матросы сбросили причалы, прислуга буксирь быстро выбрала их на свои борты, и «муравьи» повернули обратно в порт. «Марса Вторая», теперь свободная, пошла экономическим ходом в Африку.

Повеяло морскою свежестью, дышать стало легче. Поверхность моря была гладкая, зеркальная, вегра — ни малейшего, как бывает иногда на юге летом, после очередного мистрала.

Ритмическое дрожание парохода убаюкивало, давало дремоту; знакомая картина пустынного моря, здоровая прохлада клонили ко сну... Но русский разговор поблизости рассеял пассажира: «Русские!»

Рядом с ним лежали в раскинутых креслах два молодых французских офицера, в летних формах с иглочки; один — артиллерист, другой — спати. В руках у них были газеты, журналы, но офицеры не читали, разговаривали — и говорили они по-русски.

— Виноват, господи, я русский! — предупредил молодых людей пассажир; те поклонились, отрекомендовались, — один оказался князем Аракиным, другой Мухиным.

— Не сын ли вы князя Василия Ивановича? Знавал я его в Париже лет пятнадцать назад...

— Это мой отец, — ответил артиллерист, — он уехал работать в Бельгийское Конго. Уж давно не приезжал оттуда, отпусти там редки.

— Видывал я, значит, в те времена и вас. Было вам тогда лет восемь, девять.. На авеню де Терн.

— Мы и теперь там живем, мама и я. Она и превозвела меня до парохода... Едем с Мухиным на службу, в Тунис.

— И вашего батюшку доводилось мне знать, помнится, в России, — обратился пожилой пассажир к другому офицеру в форме снаги: — Я слышал, там он и скончался. Как же вы попали во Францию?

— Родственники вывезли... Я только что окончил Сен-Сир, вышел в кавалерию и еду в Тунис.

— А я — политехническую школу, — вставил Аракин, — но пришлось пойти по военной специальности, — одного балла не хватило. Стал артиллеристом, буду служить пока в Сфаксе.

С любопытством разглядывал пожилой русский своих новых знакомых. Обоим было лет по двадцати с небольшим, лица — серьезные, вдумчивые: учились мальчишки, видно, не плохо. В политехнику во Франции и не принимают посредственных, да и из Сен-Сира в кавалерию попадают только лучшие.

«Русские молодые люди», думалось ему, «теперь французы, французские офицеры, едут в Африку... Впрочем, как и я, давно уж по паспорту — француз».

Молодые люди были веселы, несмотря на разлуку с родными, знакомыми; весело им было от поездки, от новых впечатлений, от окончания учения, от молодости...

Оба рассказали вскоре и историю своей жизни, общую многим русским беженцам, борьбу за существование во Франции родителей, скудное детство, полное лишений, надежды на будущее...

Родители Аракина выехали из России, когда ему было всего четыре года, обосновались во Франции, где и попали, как все русские, в трудные условия, но отцу

удалось, в конце концов, получить место в Бельгийском Конго.

Родители Мухина погибли в России во время гражданской войны, — мальчика спасли родные. Детство его во Франции было жалкое, ученье шло урывками, лишь когда позволяли средства; помогла в конце концов стипендия одного русского, благодаря которой, он и стал человеком.

— «Я и не знал», — думал покилой пассажир. — «да и не интересовался фамилией моего стипендиата: ни он — мой, а результат, я вижу, не плохой».

Артиллерист был высокого роста, красивый брюнет, самоуверенный, как бывают обыкновенно французы-политехники. Кавалерист — блондин, ростом пониже, крепкий, мускулистый, жизнерадостный. Он любовался своей новенькой формой, оправляя свой живописный бурнус. Бурнус двойной: белый и красный, сложенные вместе, ручной ткани из грубой, чистой шерсти. Замешивали его французы от арабов, те же сохранили почти целиком фасон римской тоги. Носить бурнус красиво, закидывая гордо одну полу на плечо и образывая живописные складки, не так-то просто. В Риме существовала когда-то для этого целая школа. Да и теперь еще встречаются иногда арабы в хорошо задрапированном бурнусе — прямо римские статуи! Гармонию нарушают, впрочем, их бабуши без задков, цветные носки с подвязками на голых икрах да капюшоны, откинутые на спину, которых не было у римлян... Не утерпел несомнеченный снаги надеть и красный жилет с золотыми пуговицами, — своеобразное отличие его красивой формы. Не забыл и золоченые шпоры, надобности в которых на пароходе не было ни малейшей, — во всей французской армии только снаги носят такие, остальная же кавалерия — высеребранные.

По русски говорили оба без малейшего акцента, одинаково хорошо владея и французским языком, на котором учились с детства. С большой охотой они рассказывали о своем учении, о профессорах, о школьных историях, о забавных проказах, о товарищах...

Завтракали затем все трое за небольшим столом ресторана, выпили кофе в баре наверху и, пройдясь по палубе, вновь улеглись в креслах.

— Жизнь, господа, устраивает нередко забавные штуки, курьезные встречи, — говорил пожилой пассажир (он был старше обоих офицеров, взятых вместе), — покинули мы только что Францию, плывем в Тунис, я — по французским торговым делам, вы — по назначению французского военного министерства, а как были мы все четверо русскими, так и остались ими.. И находимся сейчас, говоря по совести, на сибирской территории, хотя и не в Сибири.

— Как четверо? Нас ведь трое! — удивился политехник: — И почему на сибирской территории?

— А пароход? «Марса Вторая»? Он тоже русский и сибиряк вдобавок... Вы не знаете его истории?.. Так извольте слушать... Пришел он перед войной из Сибири в Черное море, а уйти обратно не успел из-за закрытия Дарданелл. Выстроен же он был для рейсов между Владивостоком и Камчаткой, поэтому-то он такой осаленный, крепкий — на случай бурь и тайфунов. В Черном море проработал он всю войну и революцию, а затем с остатками белых армий и с беженцами эвакуировался во Францию. Не мало спас он тогда «недорезанных буржуев»! Ушло в те времена из Крыма сто четырнадцать русских судов и на них сто с лишним тысяч обездоленных, разместившихся на пароходах, где и как понало. Исход этот — целая эпопея, трагедия, которая уже забывается, хотя очень стоило бы ее помнить. Уезжали

тогда беженцы из России, как думали все они, лишь на время и за свое будущее и за будущее своих детей не тревожились, — ехали ведь в гостеприимную Францию, да еще по приглашению ее правительства, признавшего Врангеля и подписавшего с ним союзный договор для дальнейшей совместной борьбы. Высадились наши беженцы в Аяччо и в Бизерте — и там вдруг обнаружилось, что признание Францией белого русского правительства было лишь «стратегическим шагом». — Чтобы заставить большевиков принять очень тяжелые польские условия мира, лишившие Россию чуть не всей Белоруссии, условия несправедливые, позорные...

На русские суда был наложен арест в обеспечение аванса в двести миллионов франков, одолженного Врангелю для эвакуации юга России. Вскоре же началась и распродажа русского флота для уплаты этого долга. Лучшие суда были взяты французским морским министерством, — мог бы я рассказать вам и подробнее об этой удивительной странице франко-русских отношений... В школах вы о ней не слышали, не услышите, пожалуй, и в жизни, — многое ведь забывается, другое замалчивается. Остальные были проданы пароходным компаниям, французским, итальянским, частным лицам; военные же суда, чтобы не нарушать равновесия на море, установленного Версальским договором и затем договором в Сен-Жермене, пошли на слом, одно за другим... Эта вот старушка, «Марса Вторая», идет теперь, оказывается, в последний рейс. Носила она, впрочем, сибирячка эта, когда-то мужское имя и продана была французским министерством за врангелевский долг одной компании...

Продажа — любопытная. Компания эта, в те времена ничтожная, потеряла два судна во время войны и была на краю банкротства. Благодаря парижским связям,

ей удалось купить два почти новых русских парохода, этот вот и другой, приблизительно такого же водоизмещения. За «Марсу Вторую» было уплачено компанией пятьсот тысяч франков, с рассрочкой платежа.

Должен пояснить, господа, что один хороший рейс между Францией и Африкой приносит приблизительно такую же сумму... Подсчитайте, сколько заработало это суденышко французской компании, если оно делало в год в среднем около пятидесяти рейсов, и проработало верой и правдой больше пятнадцати лет! Заметьте, кстати, что «Марса» нравилась публике благодаря своей устойчивости: корпус ее рассчитан на льдины, на трудные условия судоходства у берегов Камчатки; склепан из более толстых листов; верхнее же строение его — ниже, чем у других судов, чтобы понизить центр тяжести, уменьшить раскачивание. «Марса Вторая» — самое спокойное судно в Средиземном море... Свою задачу теперь она выполнила, компанию озолотила. «Мавр сделал свое дело...»

— А другие суда? Морское министерство взяло их себе? — заинтересовался снаги.

— Да, некоторые из них. Те, которые были нужны Франции, — до сих пор еще эти корабли плавают под французским флагом. Верой и правдой служат «Кастор» и «Поллукс», бывшие русские ледоколы, приспособленные теперь в заградители. Ходит еще «Вулкан», — он назывался раньше «Кронштадтом», — замечательный пароход-мастерская черноморского флота. Работает и наливное судно «Баку» и «Черномор», теперешний «Ирруаз». Вы должны были встречать это имя в газетах, когда «Ирруаз» спасал погибавшие в Атлантическом океане суда, — до сих пор во французском флоте нет корабля, подобного ему, с такими мощными водоотливными и спасательными средствами.

— Мы мало понимаем во флоте, — молодой офицер-француз поспешил избежать скользкой почвы, — что нас интересует, это Россия. Нам так хотелось бы послушать что-нибудь о ней самой, о жизни там в старое время, о русском народе, об его привычках, нравах... о Сибири в особенности, раз мы сидим на ее территории... Вы видите: по крови, по духу, мы русские, но, по правде говоря, о России почти ничего не знаем, о Сибири же — и того меньше. Покинули мы родину маленькими, мало что и помним. Родные, русские знакомые рассказывают нам, но их рассказы субъективны, пристрастны: для одного — все в России было великолепно, для другого — наоборот. Во французских же школах почти ничего о России и тем более о Сибири нам не говорили. Не расскажете ли вы что-нибудь из вашей деятельности?

— Рассказать... Отчего же, господи. С удовольствием. Времени у нас сколько угодно. Будем идти экономическим ходом, чтобы не тратить мазута... Не взыщите только за форму рассказа... Что-нибудь, говорите, из сибирской жизни? Оно и справедливо — ведь мы на ее территории...

СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
НЕОБЫЧАЙНЫХ

I

— Вот, господа, получили вы ваши дипломы, начинаете теперь самостоятельную жизнь, — начал пожилой инженер: — Желаю вам успеха и удачи; жаль только, что не на родной стороне. Заметьте, удача играет в жизни человека огромную роль. У нас в деревне была поговорка: «идет линия — играет и дудка глиняная, линия не пойдет — и кларнет не запоет!» Я бы еще добавил: когда счастье, или фортуна, повернется к вам, не зевайте, хватайте ее, держите. Пропустите случай — все пропадет!

Двадцать шесть лет назад, — вы оба тогда и на свет не родились, — начинал и я свою карьеру, как вы теперь, но в условиях, пожалуй, много потруднее. Почему? Да вот: вы вышли из школы, все для вас приготовлено, назначенья получены, все ясно; остается лишь работать да пользоваться молодостью и жизнью. Мы же, штатские инженеры, начинали в России в условиях много худших: в Технологический институт поступить было труднее, чем даже в ваш политехнический, и ученье длилось дольше: пять-шесть лет высшей школы. А кончишь — и очутишься на улице, без места, без занятий! Об этом, правда, мы не думали, пока учились. Казалось: диплом получи — посылятся «и чины, и ордена, и деревни с вотчинами», как у Островского, останется только жить да Бога благодарить.

Разочарования начались тотчас же. Получил я в 1909 году диплом инженера первой степени, нашёл себе чин с тремя звёздочками и полоской на погонах (что соответствовало капитану в военной службе) и, не теряя ни минуты, бросился искать места, думая, что теперь я устроюсь сразу, покачу, как на роликах! И посыпались сюрпризы, один другого неприятнее! Куда ни придёшь — отказ: ни работы, ни вакансии, а то и просто не принимают.

Оказалось, что Россия «переживала тяжёлый кризис». На самом деле кризис был скорее искусственный: после несчастной русско-японской войны и революционных беспорядков 1905 года, правительство решило восстановить свою финансовую систему и во что бы то ни стало поддержать золотой курс рубля. Сжали для этого все расходы, уменьшили заказы по железным дорогам, на оборону, на флот: стали копить деньги, чтобы восстановить золотой запас и отразить атаки иностранных рынков, старавшихся обесценить рубль. Полезно ли было для России, нужно ли было нам молиться на рубль, этого я не знаю, но для меня и для всех моих товарищей, только что получивших дипломы из рук директора института, результат был налицо: мы все только зря трепали подметки, обивали пороги заводов, управлений, контор, — найти ничего не могли.

Не хочется даже вспоминать о такой обиде: просить работы или службы и встречать захлопнутую дверь или грубый ответ швейцара: «На приказано пускать — вакансий нет!» Моё положение, казалось, было несколько лучше, чем остальных товарищей по институту и по несчастью: два года во время забастовок я проработал на постройке Астраханской дороги. — от должности старшего рабочего дошёл до дистанционного техника, имел строительный опыт и, действительно, мог быть по-

лезен на какой-нибудь новой постройке, но беда была в том, что новых построек-то не было! Работы по проектирующимся железнодорожным линиями и шоссе-ным дорогам отложены были на неопределенный срок, все было сокращено до нуля; на ближайшие два-три года ничего не предполагалось даже начинать — одни изыскания; если и составлялись еще кое-какие проекты, то реализация их откладывалась до лучших времен.

Было одно лишь исключение: началась постройка Амурской железной дороги, длиной в 2.300 километров, имевшая чрезвычайное стратегическое значение на случай новых осложнений с Японией. Петербург ожидал этих осложнений, может быть и сам собирался их вызвать, чтобы рассчитаться за неудачную прошлую войну...

Первой моей попыткой найти работу и было посещение контор и представительств этого большого предприятия. Но там все места давно были заняты, на всех почти входных дверях висели объявления разной величины и цвета, но содержания того же: «Вакансий нет».

Походил я три дня, неделю, две, — ничего! Куда ни придешь, к кому ни сунешься, забывши стыд, — два-три товарища уже сидят в приемной, ожидают у моря погоды, или выходят обратно, повесив носы.

Разговариваю с одним вновь испеченным инженером, с другим, — все разочарованы и тот же вопрос на уме: стоило ли учиться так много и долго, чтобы в конце концов остаться на улице, не имея возможности приложить свои силы, желание работать, да и кое-какие познания? Некоторые решали сдаться, спешили записаться на вакансию учителя математики, физики в средних учебных заведениях. Другие уходили в земство, в офицерские школы, отказавшись от техники и своей

специальности, хватались за что попало, лишь бы жить да кормиться.

Что было мне делать? Сдаваться, бежать записываться на должность учителя гимназии, куда-нибудь в земство? Нет, думаю, надо еще побороться!

Помогла мне, представьте себе, женщина, молоденькая притом и хорошенькая. Замечу кстати, что и карьерой своей я обязан женщине, но та за меня не хлопотала, а была существом вредным, и я раздавил, растоптал ее без всякой жалости; это и поставило меня сразу на дорогу. Испанцы говорят: «Если хочешь провести день счастливо, начни его, раздавив гадюку». Я и последовал, сам того не зная, указанию этой народной мудрости и, начиная мою деловую жизнь, раздавил змею.

Счастье ко мне и повернулось, а как повернулось, я за него ухватился крепко и сначала пошел вперед пшибко: в два года обогнал лет на десять своих товарищей по министерству и по институту. Не было мне и тридцати лет, как я чуть не стал генералом. не военным, понятно, а нашим, инженерным. Да сорвалось! И погубил меня, представьте себе, кто?.. Королевский тигр! Шучу? Нет, совершенная правда: не сам тигр, понятно, сн мог бы загрызть меня, а не мою карьеру, — а то, что я не повил души охотника, не оценил влияния страсти на человека...

В жизни, господа, часто случается, что самый умный человек под влиянием какой-нибудь слабости, игры или охоты, перестает мыслить и действовать, как здоровое существо. Женщины, азартная игра, вино, охота меняют человека так, что потом ему, наверное, и самому стыдно за свои поступки, если он еще способен в них разбираться. Впрочем, чего можно ожидать от игрока, от страстного охотника или от пьяницы? Для меня все они

принадлежат к одной категории — людей не вполне нормальных. Об этом, об охоте на тигра и о конце моей карьеры в Сибири, я вам потом расскажу, — это уже конец моего пребывания на Востоке, — а сейчас возвращусь к началу моей там службы.

Как помогла мне одна хорошенькая женщина? А вот как. Иду я раз по Невскому, — четыре недели проходил в поисках службы, ничего не нашел, стал терять последнюю надежду куда-нибудь пристроиться, хоть в деревню к отцу возвращайся! Встречаю на Невском милую эстонку, родственницу брата по жене.

— Устроились? — спрашивает.

— Нет, ничего найти не могу.

Она покачала головкой: — Стоило же учиться!

— Если бы знал, понятно, не стал бы!

— Пойдемте к нам обедать, с Сигизмундом поговорим.

Сигизмунд — ее муж, поляк, инженер, одного института со мной, но лет на двадцать старше, служил в министерстве.

Рассказываю я за обедом мои неудачные похождения: она наседает на мужа, нет ли чего в министерстве или где-нибудь в правлениях, — он ведь со всеми знаком.

— Ничего нет, — раздражается пан, — вы же знаете наше правительство. Удаюсь опять занять денег во Франции; все, кому хотелось, получили почетные легионы, заплатили сотни миллионов комиссий парижским банкирам и газетам и опочили на лаврах, на Ривьеру поехали отдыхать от трудов праведных. А занимая деньги, подписали ряд обязательств: тарифов таможенных не повышать, самим ничего не строить, не производить, все готовое за-границей покупать. Чего же вы еще хотите? Нашим сахаром немцы свиней откармлива-

ют, а у нас народ чай в приглядку да в прилизку пьет; строить автомобили да моторы — не смей и думать, добывать алюминий — тоже, пшеницу во Францию по восемьдесят копеек за пуд вывозим (Дрейфус дорожке не платит), а самим нам она рубль двадцать стоит.

— Сурович устроился же на Амурскую дорогу, — а он еще и поляк! Почему же Вася не может?

— Сурович — приятель с начальником работ; тот его и взял. К тому же у Суровича строительная практика, а твой Вася ничего кроме автомобилей не знает. А кому они нужны?

— Я два года на постройке Астраханской дороги проработал, — возражаю я.

— Попроси Суровича поговорить с начальником, может быть что-нибудь и выйдет.

Ухватилась за Суровича, не отстает. Заставила мужа искать. В «Огнеско Польскэ» (польский клуб на Тропцкой улице) нашли мы молодого красивого парня, в щегольском форменном куртке, самодовольного, с холодными умными глазами. Он выслушал нас, но несколько раз повторил, что вакансий совершенно нет, не предвидится и на будущий год, а если бы случайно какая и нашлась, то записаны уже сотни кандидатов.

— Где вы раньше работали? — спросил он, наконец.

Сигизмунд вдруг рассказал, что я три года занимался автомобилями и считаюсь одним из лучших специалистов в Петербурге. Спешу перебить, понимая, что для постройки железной дороги автомобили не пужны, и опять указываю на свою службу на Астраханской дороге. Сурович призадумался:

— Вы, действительно, знаете автомобили?

— Знаю, но моя специальность — постройка дорог.

— Специалистов по постройке у нас сколько угодно: их не надо. А раз вы знаете автомобильное дело, то

я переговорю с генералом; недавно он этим вопросом почему-то интересовался.

Распрощались; надежды никакой — ни у меня, ни у Сигизмунда. На следующий день, однако, рано утром горничная от моей знакомой эстонки с запиской: «Быть в Серапинской гостинице у начальника Амурской дороги в восемь часов утра». Вскочил, оделся, бегу. Без пяти восемь — там. Швейцар не пускает, показывает на объявление. Я смело вперед: «Меня генерал сам вызвал». Швейцар не поверил, по пропустил. В первом этаже докладывают обо мне, ведут в пятый номер: салон и рядом, видно, спальня. Мебель александровской эпохи, красного дерева, обита бархатом цвета бордо. Выходит господин в домашнем пиджаке и очках, полноват, роста небольшого, вид так себе, но ясно, что он и есть генерал.

— Вы инженер такой-то?

— Так точно, я.

— Сурович сказал мне, что вы знаете автомобили Откуда?

Объясняю, стараясь переехать на Астраханскую дорогу. Но генерал сейчас же прерывает: — Этому мне не нужно, а покажите ваши удостоверения по автомобилям.

— Удостоверения? Я сам их другим писал! Я был хозяином гаража.

— Да?..

Понимаю — не доверяет... И вижу на столе телефонную книжку.

— Вот, посмотрите в справочнике прошлого года: «Центральный гараж» такого-то. А вот и фотография моя на автомобильной гонке (фотография была случайно у меня в кармане).

Генерал посмотрел внимательно: — Это вы?

— Я самый.

— В этом гараже я брал неоднократно автомобиль для поездок.

— Гумбера или Бразье? Вы у меня и брали.

— Раз так, то я принимаю вас младшим инженером по механическому отделу. Вакансия эта задержана была для другого, но он не знает автомобилей, а мне требуется специалист. Вам подходит? Обратитесь тогда от меня в бюро, оформите ваше поступление и через три дня выезжайте в Благовещенск. На три года, и никаких отпусков. Можете выехать через три дня?

— Хоть через три часа!

— Тогда — все в порядке. Я предупрежу бюро о вашем приеме. До свидания, до Благовещенска.

Я был на месте, на работе! Не на той, правда, на которую метил, а на той, от которой недавно еще, казалось, навсегда отошел, разочаровавшись в автомобилях. Зато — на три года и на условиях, вероятно, не плохих. А дальше? Там видно будет!

II

Через два дня все было оформлено, но выехать в срок не пришлось. Оказалось, что министерство заинтересовалось успехами автомобильной техники; явилась мысль применить их при постройке дорсг, как средство связи и временных сообщений, и первый опыт решено было сделать на Амурской дороге.

Поднялся, разумеется, целый ряд вопросов: надо было набрать механиков, шоферов, снабдить их, купить автомобили, ремонтные части, снабжение. Каждый день я занимался у генерала в его салоне, в конторе постройки; скоро и не по одним автомобилям, а по снабжению всех отделов. Выехал я лишь через три месяца

после приема на службу, в ноябре, когда навигация по Амуру закрылась и надо было трюстись 1.200 верст на лошадях от Сретенска до Благовещенска. Удовольствия от такого путешествия не было никакого, но выехать раньше оказалось невозможным: получались требования с места постройки, никто из инженеров не знал рынка в Петербурге, — все они были из провинции, — и многое падало на меня, так как я, за три года моей гаражной деятельности, действительно узнал, что где достать и что сколько стоит.

Хоть и досадовал я еще на автомобили и на их изобретателей, вспоминая три года каторжной работы моей с ними, но тут мне автомобиль помог. Завязались знакомства в министерстве, хорошие отношения со многими из будущих сослуживцев, с самим генералом, инженером старой школы, который был удивлен и обрадован, увидев, как я управлял этими машинами, мало кому известными в те времена: ни в одном институте они еще не проходились и права гражданства в русской технике тогда не имели.

Материальные условия моего назначения были по тому времени для России блестящи: двести рублей в месяц, все расходы по передвижению оплачивались, и три месяца содержания — на экипировку. Но увы! то, что было хорошо для России, оказалось далеко не достаточным для Сибири, богатой, но далекой, где все стоило в два раза дороже. Это-то, правда, узнал я уже после, когда попал туда, а пока, не думая, стал собираться в отъезд и закончил все дела в Петербурге по военному: раз-два и готово! Пошел в магазин гвардейского экономического общества (в мое время было такое замечательное учреждение) и купил себе все теплое с ног до головы, снизу доверху: и белье шерстяное, и сукопное платье, и шубу меховую, и валенки, и шапку с наушни-

ками, а в случае надобности и с защитой для носа. Надел все — эскимос да и только! Толщина — пулей не пробьешь... «Хоть на северный полюс поезжайте, — смеялись приказчики, — никакой мороз не проберет».

Подумал я и об оружии; легко сказать, куда еду и в каких условиях! Мало ли что по дороге может случиться. В оружейном отделе мне посоветовали новейший карабин-автомат Випчестера, — слона на пятьсот метров убивает, — и браунинг большого калибра. Закончил я свои несложные личные дела в Петербурге и захватил домой перед отъездом... повидаться с отцом, с матерью, попрощаться с ними, — ведь я уезжал на другой край света да на три года!

— Места тебе, значит, в России не нашлось? С твоим дипломом-то? — сумрачно произнес отец за чаем, глядя поверх пенсне: — Стоило трудиться в институте, лямку столько лет тянуть? Что ж, службы не нашел, так работай лучше дома... Известковый завод пусть у нас, или поставь, как следует, разработку торфа. Для чего-нибудь учился же! А то за кирпичное дело примись, — глина у нас хорошая, торф даровой, дома и сидел бы... А?

— Кому их продавать-то? — вмешалась мама, не глядя на отца и продолжая что-то вязать, — она одевала всех пятерых детей, мужа и себя и никогда не оставалась без дела. — Если бы кирпичи делать было выгодно, евреи из Египта не ушли бы! Пусть лучше едет в Сибирь, если в России нет места.

— В ссылку отправляют людей туда, за убийство да за политику, а он — по своей охоте! Не близкий свет, оттуда в три дня не доскачешь... Придется ли еще увидеться?

Отец оказался прав. Увидеться с ним мне больше не

пришлось. Не довелось быть даже на его похоронах. Год спустя, на Амуре получил я телеграмму из дому, что отец скончался от разрыва сердца. В лучшем случае надо было считать на дорогу в одну лишь сторону двенадцать дней, — ехать было бесцельно.

Итак, в середине ноября оказался я в вагоне первого класса, в отдельном четырехместном купе (устроили мне это в министерстве) на сибирском экспрессе, без пересадки от Петербурга до Читы. Оттуда, после пересадки, поехал я уже почтовым поездом в Сретенск, конечный пункт рельсового пути в то время. Дальше надо было ехать на лошадях, а летом — на пароходе по Шилке и Амуру.

Четырехместное купе мне дали потому, что все двухместные были заняты, пообещав, что оно останется в полном моем распоряжении; могу быть в нем, как у себя дома, все восемь дней и ночей.

Легко сказать, господа, восемь суток по железной дороге! В первый раз очень надоедает, — потом привыкаешь, перестаешь даже замечать. Пришлось мне в следующем же году проехать несколько раз из Петербурга во Владивосток и обратно, и это путешествие казалось уже нормальным, несмотря на девять суток пути: я не замечал ни дней, ни расхождений.

Когда едешь от Петербурга, да еще зимой, — смотреть нечего; пейзаж не меняется на тысячи верст, те же деревни и поля, занесенные снегом, горюшки и бедные деревни, ничтожные станции — все, как одна, той же казенной архитектуры, без характера, без привлекательности. Правда, и смотреть не так-то просто: двойные окна наглухо закрыты и замерзли чуть не доверху; проводник все время топтит, стараюсь держать положенную температуру, а мороз то крепче, то слабее, на окнах лед толщиной в три пальца; от стен вагона так и

песет холодом, несмотря на двойную теплую обивку.

В то время сибирских экспрессов было три в неделю: один — казенный, из Петербурга, и два Международного общества спальных вагонов, из Москвы. До Челябинска они шли по разным линиям, а от Челябинска — по сибирской дороге и по Манчжурии — до Владивостока, куда прибывали на девятые сутки. Казенный состав из Петербурга был попроще, московские поезда имели ванную и гимнастический зал; во всех экспрессах были, конечно, вагоны-рестораны, входившие в состав поезда. Буфетчики, повара старались превзойти один другого своим кулинарным искусством, вынами; некоторые заслужили такую славу, что постоянные пассажиры заказывали себе места именно в экспрессах с определенными ресторанами.

Угодить, впрочем, было и не трудно, да еще зимой: чего только не выносили одни бабы на станциях к приходу поездов, начиная уже с Вологды! Тут и жареные тетерки в сметане, и рыбчики, залитые в масло, и рыбы всяких сортов, величины и приготовления, — и все так дешево! Хотя пассажирам экспрессов дополнительная нища была не нужна, — вагоны-рестораны кормили замечательно, — они все-таки покупали: от нечего делать, из любопытства, иногда — чтобы только отвязаться от пристававших продавцов.

На какой-то станции, не доезжая Урала, хожу по перрону, — остановка была в пять минут, чтобы дать пассажирам прогуляться, воздухом подышать, — какая-то бабенка навязывает мне блюдо с глухарем, размером побольше откормленной индюшки. Глухарь зажарен в масле, красиво уложен на деревянном резном блюде, кругом брусничное варенье с яблоками, какая-то зелень еще патыкана; за все бабенка спрашивает семьдесят копеек. Молоденькая, веселая, смеется во весь рот.

Хочу расплатиться, — пассажир с генеральскими отворотами, берет глухаря за голову: — Можете взять, молодой человек. Выводок этого года, мясо нежное; а про-нлогодний — стар уже, тверд, и аромат не тот. Сама стреляла? — обратился он к девушке, — в голову?

— В голову; видите пульку?

— Умеешь стрелять, красавица! — удивился я.

И генерал, и бабенка засмеялись. Я расплатился и взял глухаря с блюдом; на нем старинной вязью красиво вырезано: «Кушайте на здоровье».

Разговорился с генералом.

— Вижу, — говорит тот, — вы Севера не знаете. «Умеешь стрелять?» — спрашиваете. Ха-ха-ха! Да ока, батенька, белку в глаз бьет с десяти лет еще! А в глаз не попадет да шкурку испортит — с самой шкуру спустят. Вот как их тут стрелять учат! Посмотрите на вашего глухаря: из малокалиберной винтовки, с хорошей дистанции, пульку ему около уха и всадила! Он потому глухарем и зовется, что голову боком держит, прислушивается: сторожкий очень. Другие думают, что на току он от страсти ничего не слышит, глухим становится. — это, батенька, неверно. От страсти глухими часто бывают, это и с людьми случается, а глухими от страсти не делаются; наоборот скорее... Пора, однако, и садиться, поезд задержим.

В вагоне он снял пальто; я увидел боевого генерала (по орденам) смелча мужиковатого типа, с умным, открытым лицом.

Оказался он атаманом Амурского казачьего войска, не наказным, а выборным; возвращался из Петербурга домой, на Амур. Он очень обрадовался, узнав, что еду я на постройку дороги, от которой ждали много хорошего для всего Амурского края.

Это был природный сибиряк, амурец от отцов и пра-

дедов. Сибирь он считал выше всех стран, а лучшей частью Сибири — Амур и его казачество.

— Посудите сами, батенька, — доказывал он мне, сидя за столом вагона-ресторана, — если говорить о народе свободном, демократическом, то сибиряк — первый человек на свете! Никогда сибиряк не знал ни рабства, ни крепостного права, ни борьбы классов, ни распри религий. У нас все всегда были свободны, равны. Никто никого не притеснял ни из-за земли, ни из-за веры. У нас и христиане всяких толков, и язычники, и буддисты, и шаманство, и ислам. И это не только во всей Сибири, а даже в моем небольшом амурском казачестве. Никто никого не теснит, друг над другом не смеются. Веруй, как хочешь, как отцы веровали, да будь хорошим человеком и добрым казаком, вот и все. У меня такие казаки-монголы есть, что сними казацкую форму да надень монгольский халат — прямо Чингиз-Хапы. А казаки — первый сорт! Вы в Сибири бывали?

— Нет, в первый раз.

— Тогда сами увидите, что здесь, милый мой, не ваща Россия или, там, Европа. Признаюсь, как через Урал перевалю, так у меня — как камень с души! И чем старше, тем сильнее это чувствую. Вы понимаете разницу? У вас народ сначала под монгольским игом двести лет был, потом под немецкое засилье попал со времен Петра. Насадил вам немцы и аристократию, и выслуженное дворянство, и крепостное право, — не люди стали, рабы! Гниль да дрянь, а немецкие бароны на всех ездят и погоняют. У нас же в Сибири никогда не было ни аристократии, ни крепостного права: за Урал перешел — забудь, кем ты был в России, теперь ты свободный человек, сибиряк! Так споконвеку было, с Ёрмака, может быть и раньше... Мы, сибиряки, такую свободу вот уже четыре столетия имеем, а вы говори-

те про принципы французской революции да про американские штаты. Они — малые дети перед Сибирью!

У нас, говорю я, все равны и всегда такими были... Понятно, есть богатые, есть и бедные, хорошие и плохие, это всегда было и всегда будет, но все свободны и своего достоинства никто не уронит. И каждый, кто захочет и кто того стоит, может стать и богатым и счастливым, — работай только да преуспевай! Из бедняка у нас в год-другой богачем станешь; никто и не спросит, какого ты рода или вероисповедания. Свалился из богача бедняком стал, — никто не отвернется, не попрекнет! Начидай сначала.

Вот она, свобода-то! Петербург нам только гадит. Вы думаете, ваши бароны да администраторы не пытались у нас посадить и дворянство, и помещиков, народ по рукам и ногам связать? Пытались, милый мой, да поняли, что номер не пройдет. Довольно с них и каторжан... С теми проделывайте ваши мудрые опыты да с русскими батраками, а нас -- не тронь, свободы своей мы никому не дадим!

Поехал я, месяц назад, к одному приятелю поохотиться в его имении в Польше. — ну, право, противно даже вспомнить: в деревне, что ни слово — бабы на колени перед вами становятся. Что же я? икона? Дашь крестьянину двугривенный — руку целует! Я уж не выдержал: «Как же тебе, такой ты, растакой, не совестно? За двугривенный — руку целуешь! А за рубль — что сделаешь?» Смеется: «Мы, ваше превосходительство, так сызмальства приучены!» И что ни слово, то «падам до нуг»; да не только мужики, а и дворяне польские друг другу такую пакость говорят и сами того не замечают. Короли их так приучили, в плоть и кровь, значит, вошло. Вот вам и Европа...

А в прибалтийских губерниях — и того хуже! Один

приятель мне рассказывал, что бароны там до сих пор и на барщину крестьян гоняют, и без земли держат, и правом первой ночи пользуются. Это теперь-то! И они. эти самые балтийские бароны, могут у власти стоять. первые места занимать, нами командовать? Нет, батенька, Россия и Европа ничего перед Сибирью не стоят! И народ ваш, европейский, — дрянь, раз свободу свою продал или отстоять не сумел. Наши сибиряки?.. Увидите! Пальца им в рот не клади, зато достоинства своего не пременяют ни на какие подачки и награды.

— Виноват, генерал, — спрашиваю я его, — какого же племени сибиряки-то? Разве не русские они? не славянской породы? Вся главная масса их пришла ведь из России. Они такие же славяне, как и мы.

— Какого племени сибиряки, спрашиваете? — генерал приниурился, испытующе посмотрел на меня слегка раскосыми глазами: — Мешанина, дорогой мой, вот какого! Основа, понятно, тюрко-монгольская, но к ней подмешана кровь китайская, персидская, турецкая, угорская или югорская. Наконец, и ваши российские степи влили в нас не мало половецкой да славянской крови. Прибавьте еще кавказскую, немецкую, я уже и не знаю какую — вот и получите сибиряка! Всякая кровь сделала свое дело, и результат получился не скверный. Как в Соединенных Штатах, только там народ — из отбросов Европы, а у нас из первых сортов, из победителей! Победенные-то гибли, или их продавали в рабство в другие страны... Да и крови черных у нас нет. Смеси белой и черной рас я не наблюдал, об этом судить не могу, но мне говорили, что кровь черных — что кофе для молока. Вся же Сибирь — производное от скрещения белой и желтой рас, и производное, уверяю вас, неплохое: народ здоровый, способный; легко переносит и голод и холод. Сибиряк смышлен от природы.

весел, доволен, но права свои знает и в обиду себя не даст.

— Как видите, генерал, европейская-то Россия более однообразна, чуть не три четверти ее — славяне. Вот она и покорила Сибирь.

— Покорила? — обиделся генерал: — Об этом мы еще поговорим, а что касается до чистоты крови, то я вижу, вы по Иловайскому учились. Я смотрю, дорогой, не так. Чистых рас нет! Приняв во внимание великое переселение народов да военные обычаи прежних времен, с ужасающим истреблением населения и всяким насилием, чистоты этой в Европе и быть не может! Помните, по физике Краевича, диффузию и осмос? Так и в вопросе народностей: явления эти сыграли ой-какую роль, особенно в России, где от славянства мало что и осталось. На бумаге разве да в представлении ученых. Про Сибирь я уж и не говорю, недаром Азия была колыбелью всех цивилизаций... Занимаюсь я этим вопросом хороший десяток лет, по-китайски и по-арабски понимать научился, чтобы «Секретную историю монголов» прочесть да с китайскими источниками познакомиться... Расскажу я вам немного об истории России, вы и увидите, какие вы славяне и где ваша хваленая чистота племени.

Три тысячи лет до Рождества Христова юг России принадлежал кимрам, происхождение которых пока не установлено. Их сменили скифы сначала, потом сарматы — те и другие индо-европейского, вернее, иранского племени. Скифы пришли из Туркестана в восьмом веке до нашей эры и выпилили кимров: но через три сотни лет на них напали сарматы, того же иранского племени. Часть кимров ушла в Венгрию и на Балканы, остальные были перебиты или растворились между скифами. Вытесненные в свою очередь сарматами остатки

скифов ушли в Крым, другие смешались с победителями. Затем, гораздо позднее, три века уже после Рождества Христова, пришли из Сибири гунны, тюрко-монгольского племени, которые уничтожили сарматов, разбросав остатки их по Европе. В шестом же веке появились авары, монгольского племени и шаманисты по религии; они овладели югом России и растворили в своей массе остатки гуннов. Царство аваров простиралось от Балги до Австрии. На юге они владели Малой Азией, ходили на Константинополь, на Балканы, на Италию. Карл Великий нанес им жестокий удар в 791 году, а сын его поразил их окончательно в 796 году. Удержались они только в Моравии и в Венгрии, так как в России их места заняли болгары и хазары, тоже тюрко-монгольского корня. Князь Святослав уничтожил в 965 году царство хазар с помощью византийцев. Место хазар на юге России заняли печенеги, тюркского племени, которые через два столетия были вытеснены кыпчаками, по-русски половцами (тоже тюрки), жившими раньше по реке Оби в Сибири. Эти последние и были вытеснены монголами, которые, под предводительством Джебей и Субботая, разбили кыпчаков и русских князей в 1222 году на Калке, опустошили русские города, но спастись ушли в Азию. Через десять с небольшим лет они вновь вернулись вместе с Батыем, покорили почти всю Россию и основались в каменных стенах, — монгольское иго России тогда и началось.

Последний монгольский хан Тахтамаш был разбит турком Тамерланом в 1395 году, после чего началось турецкое иго в России, но турки, которых мы называем татарами, разбиты на ханства. Казанское, Астраханское, Касимовское и Крымское, часто враждовавшие между собою: постепенно они и подпали под власть русских.

Таким образом, милый мой, говорить о чистоте русской крови не приходится, раз весь юг и центр России, самые лучшие, самые населенные ее области были настоящим проходным двором народов в течение многих веков. Гунны, монголы, вандалы, тюркские племена жили там, царили, уничтожали мужское население, брали девушек в жены, насиловали жепцин, — все это послужило к тому, что чистоты русской крови не осталось и в помине.

III

— Здесь, господа. — обратился инженер к своим спутникам на «Марсе Второй», — разрешите мне добавить, что чем же летом я и сам убедился, что генерал говорил правду о демократических началах сибиряков.

Случилось это так. Попал я в августе того же года в свиту наместника Дальнего Востока, генерал-губернатора Н. Л. Гондатти, при объезде им всей Амурской и Приморской областей. Мы плыли по Амуру на трех пароходах. Сопровождали наместника командующие войсками барон Унгерн-Штемберг и граф Ренненкампф, — плохую службу сослужили они России в великую войну, — командиры корпусов и дивизий, губернаторы, все высшие чины областей: объезд наместником этих необъятных пространств бывал только раз в четыре-пять лет.

Подплываем, помню, к станции Средне-Тамбовской. Станция огромная, целый город, раскинулась по берегу Амура на несколько верст. Наместник, в ожидании торжественного приема от жителей области, вышел на палубу в полной форме, в треугольной придворной шляпе, со звездами, в ленте. За ним генералы в парадной форме и важные штатские чиновники. Там же оказался и я

(на пароходе наместника, где мне, по его приказу, была отведена каюта). Берег, вижу, череп от народа; десятки тысяч собрались.

Пароход наш развернулся, ловко подошел к пристани, бросил причалы. В одно мгновение закрепили сходни — красный ковер разостлали по ним; наместник пошел на берег. Народ стоит шпалерами, порялок, тишина. Впереди всех, в пяти шагах от линии причала, три старика: один русский, два казака в форме, с булавой и какими-то еще знаками своего достоинства, бороды седые, длинные; сзади стариков — старшины, делы, музыка, казаки конные, пешие, должностные лица, население. Старики и весь народ — в шапках.

Наместник вдруг остановился на сходнях, смотрит на стариков в упор.

— Старики, ведь я — генерал-губернатор, наместник Государя Императора. Шалочки-то надо снять!

Говорит громко, сурово; каждое слово так в воздухе и отчеканивается. Я ни глазам своим, ни ушам не верил. Как?. В России перед исправником шапку за верегу ломают, чуть в ноги не кланяются, а здесь?.. И вижу, старик посредине, с булавой, делает два шага вперед, прямо к наместнику, да ему в упор:

— Господин генерал-губернатор. Не мы к тебе приехали, а ты к нам пожаловал... Шалочку-то свою сними. почет народу окажи, а мы тебе ответим!

Тишина, муха пролетит — услышишь. Все замерли. тысячи глаз впились в лицо наместника, следят за каждым его движением.

— Правильно, дед, — усмехнулся наместник, снял треуголку, поклонился старикам: — Здравствуйте, православные!

— Здравствуй, Николай Львович, дорогой наш! Давно тебя ждем! Умереть боялся, с тобой не повидавшись!

— и старик протянул руку наместнику. Тот ее крепко пожал, обнял старика.

Нельзя списать, что было в ту минуту с толпой: шапки полетели вверх, радостный рев, стрельба из ружей, музыка, улыбки на всех лицах. Генерал-губернатора мы потом три дня не видели, его забрали местные жители, казаки, русские, бывшие переселенцы. Каждый просил, чтобы он посетил его дом, и он не хотел, не мог отказать... Это был их наместник, сибиряк, любивший беззаветно Сибирь и ее народ, понимавший его и понятный им, тот и другой слившиеся душой и мыслями...

— Видели? — спросил меня как-то позже атаман, мой знакомый по сибирскому экспрессу: — Правду вам говорю! Вот они, сибиряки-то! И он молодец, хоть дед его и был из итальянцев; понимает и уважает вековые традиции народа. Не то, что ваши немецкие бароны. Посадите на его место какого-нибудь стрелка из Петербурга, сумеет создать, кошмар сын, еще другую «Ленскую историю», и из ничего!

В то время мировая печать и общественное мнение были взволнованы катастрофой на золотых приисках Ленской англо-французской компании. Один шаркун-губернатор, не разобравшись, дал тогда приказ войскам стрелять: полтора ста рабочих осталось на месте, пятьсот было ранено. А оказалось потом, что рабочие были совершенно правы, да и разногласие с администрацией компании вышло ничтожное; дело же было раздуто полицейским офицером, желавшим продвинуться по службе.

Возвращаясь к моему рассказу. Должен вам сказать, что поездка на сибирском экспрессе в мое время напоминала скорее путешествие на пароходе, а не в поезде. Пассажиры занимали места с начальной станции, из Петербурга, и следовали за малыми исключениями до конца пути.

Поезд проходил по местам пустынным, городов там почти не было, лишь небольшие населенные места да станции. Люди жили в них своей обособленной жизнью, местными интересами, мало имели потребности во внешнем мире. Добавлю, что заводы по северному пути экспресса почти отсутствовали, промышленности никакой. Пассажирское движение, поэтому, было редкое, и экспресс шел тысячи километров с теми же пассажирами, которые на этот раз почти все, кроме меня, ехали до Владивостока.

Подсаживался изредка один, другой, чтобы добраться до Челябинска, до Иркутска, но этих пассажиров мы считали пришлыми, чужими, и во внутренней дружной жизни экспресса они участия не принимали, — им было всего день-другой пути, а нам — по восемь-девять суток.

Совершенно случайно все пассажиры, кроме меня, оказались сибиряками и быстро перезнакомились, отчасти благодаря ресторану, где сидели компаниями и сидели долго. Ходили, кроме того, друг другу в купе (случайно — дам не было); одни играли в бесконечный инт, другие разговаривали, читали, делились новостями, кое-кто и рассказывал что-нибудь, почти всегда — про Сибирь.

Некоторые из спутников, особенно генерал-атаман старались поделиться со мной, не «сибиряком», познаниями о родной земле, удивить меня, повичка, ее историей, размерами, бесконечными возможностями. Было видно, что каждый из сибиряков любил свою родину, считал ее лучшей на свете; о России же они мало упоминали, да и то снисходительно, даже с пренебрежением; Петербург же и его администрацию просто не терпели. Слушая их, выходило, что все в Сибири лучше, воз-

возможности там для всех и во всем — богаче и будущей работы там непочатый край.

— Сибирь, дорогой мой, первая страна и в истории. — восторженно говорил генерал, сидя в моем купе (двое других пассажиров сидели на диване напротив: они только что закончили очередную партию в винт и в ожидании обеда не прочь были послушать и поговорить). — Роль Сибири в судьбе народов необычайна! В культуре человечества, в прогрессе, в истории. Европа ничто перед Азией, колыбелью мира. Ведь все великие события, изобретения, все отсюда. Возьмите историю Китая, изобретение пороха, бумаги, почты, ассигнаций, расцвет Ирана, мощь Персии и величие, наконец, монголов, все — от них! Аттилу, Чингис-Хана, Тамерлана — у вас считают бичами, Божьим наказанием... Да так ли это? Посмотрите на историческую роль, какую эти сыграли, на новые принципы жизни, которые они внесли. Мало кто занимается историей Азии, Сибири, монголов, — но этот недосмотр рано или поздно будет устранен и тогда все увидят, что историческая роль Греции, даже Рима, ничто перед ролью монголов в жизни человечества. Сибирь, дорогой мой, это страна прошлого, великого прошлого, и она не умерла, лишь спит пока, и сыграет снова первую роль. Возможности ее бесконечны, Сибирь безусловно — страна будущего. Это начинает теперь видеть даже подслеповатый Петербург.

Генерал посмотрел вокруг: — Возьмите хоть реки, — продолжал он, поглядев в окно; поезд наш пересекал как раз реку по бесконечному мосту с железными фермами: — Где на свете увидите вы такие реки, как у нас, в Сибири!

— Совершенно правильно, генерал, — подхватил, на диване напротив, торговец мехами, — что весной здесь

делается! Ширина — уму непостижимо! А подальше, на восток! Там, где все три Тунгуски — Большая, Средняя и Малая — сливаются в одну артерию шириною километров в двести, быструю, многоводную, прямо как море. А пловучие острова!.. Вы о них слышали? — обратился он ко мне: — Нет?.. Представьте себе, иногда в Сибири целые площади передвигаются, особенно весной, с домами, пастбищами, посевами. И на много километров, иногда на десятки... Из-за мерзлоты, наверно, вода пройдет по более низкому почвенному слою, приподнимет всю площадь, скованную еще льдом, все и сносит!

— Наша Волга весной тоже — не курице по колено, — защищал я посрамленную Россию.

— Знаем мы ее, вашу Волгу, — перебил генерал, — она мелка, ее фарватер непостоянен; по до поры до времени она еще царствует, пока Сибирь не проснулась... Посмотрите, что будет здесь через десять-двадцать лет, когда Петербург даст ход местным силам и богатствам, когда перестанет смотреть на Сибирь, как на место ссылки. Все свое будем иметь здесь, на месте. С другими еще поделимся.

— Как же суместе вы, генерал, производить все при вашем климате? Уж и теперь — ниже тридцати, перевести духа нельзя, а вы о производстве?

— Ошибаетесь, молодой человек, — пожилой штатский, наш постоянный сосед за столом вагона-ресторана, тоже вступил в разговор: — Зима в счет не идет и мороз только на пользу земле, паразитов убивает. Здесь у нас солнце такое живительное летом и почва так богата, что обычное понятие о времени произрастания должно быть пересмотрено для Сибири. У меня на Вилюе, — а это самое холодное место на земном шаре, — сделали почин в одной ложине, и я, не

хнался, выращиваю все овощи, надеюсь иметь и пшеницу.

— Пшеницу? — не удержался я: — В Орловской губернии и то она не вызревает, холода боится.

— А у нас будет вызревать! Мы уже подобрали нужные сорта, а кроме того, произрастание здесь такое быстрое, лучи солнца так животворны, что вы, положительно, глазом видите, как трава растет. Да и не только в Сибири. Поглядите на Канаду, что там делается, — а зима их вроде нашей. Я читал про одного канадского немца Германа Треде, так он вывел на севере Канады такую пшеницу, которая совершенно не боится морозов. Один его сорт «маркиз» вызревает на десять дней раньше всех, а теперь он выводит еще новые сорта — «Прелюдию» и еще какой-то; те выдерживают зиму и снег, как овощи на огороде. Семена надо брать неизнеженных сортов, а закаленных, с вершин Афганистана, с Хинду-Куша, или наши, алтайские.

— Выходит, как с людьми: изнежились, заелись — к чорту! Надо брать от земли, — генерал многозначительно посмотрел на собеседников.

— У нас то же, — подтвердил стоявший в дверях купе красивый польский граф, родившийся в Сибири, директор крупной золотопромышленной компании на Зее: — Процесс произрастания здесь удивительно быстрый. Природа ли пользуется длинными летними днями, или ультра-фиолетовые лучи действительно на севере, в Сибири, чем в средней и южной полосе земного шара, но замечьте, господа, сейчас сильно занимаются этим вопросом, и я часто встречал эту мысль в агрономической литературе. Во всяком случае и мы выращиваем теперь у себя на Зее почти все овощи, которые возли раньше с Амура и из Китая за тысячу километров.

На следующий год предполагаем даже использовать один теплый источник и устроить даровое отопление почвы. (можем стопить гектаров десять прекрасной земли. и наш агроном обещает персики и абрикосы на Зее, а может быть и ананасы.

— Ловко! — похвалил генерал: — По моему, и вода у нас целебна.

— Вероятно! Она сильно серниста, да что с этого? Лечиться ведь некому, пусть пока хоть почву оттапливает, чтобы канерий зря не терять.

— Правильно, — согласился генерал, — климат здесь удивительный, можно сказать — лечебный. Бактерии и зародыши многих болезней в Сибири умирают, повидимому, благодаря низкой температуре. Даже туберкулеза у нас почти нет, разве у приезжающих и у переселенцев. Пожалуй, это и по принципу естественного подбора: все, что послабее, сибирского климата не выдерживает, остаются лишь здоровые экземпляры.

— Да вы не думайте, молодой человек, что в Сибири только холода да морозы, — продолжал, обращаясь ко мне, торговец мехами: — У нас есть все климаты. Попадал я раз в Амурскую область, поближе к океану. Сначала увидел там такой тайфун, что не дай Господи! А потом — вдруг тропический дождь, как из ведра, и каждый день в определенное время, хоть часы поверяй. Зато и растительность! Деревья — просто беда! Поглядишь на макушку — шапка валится. Местами пробраться невозможно, что твои джунгли. И штука, знаете, курьзная: на верхушках гор — ступить нельзя, мокрота такая, а спустишься вниз, хоть на животе катайся — сухонько.

— Одна беда у нас, это Петербург! — вздохнул генерал: — Создали господа ученые историю покорения Сибири, все русские и привыкли смотреть на нее, как

на пустыню, как на дикую страну, а на себя — как на ее благодетелей. Они, де, ей помогают, населяют ее переселенцами да ссыльно-каторжными, пекутся о пей. Так то оно так, да не совсем! Вы вот со школьной скамьи недавно, так скажите, что вы знаете о покорении Сибири? Ермак, де, ее покорил. та и припроднес на блюде Ивану Грозному?.. Так что и?

— Врете эй го, генерал.

— Так я и думал... Время у нас есть еще до обеда, расскажу я вам историю, как ее надо понимать, а вы помсзгуйте. Хвастать не стану, историей монголов занимаюсь не мало лет.

— Знаем, генерал! — поспешил подхватить золотопромышленник, — вы монголовед известный, мы все с удивельствием изучимся у вас.

— Известный, неизвестный, а на безрыбьи и рак рыба. Кто у нас занимается этим вопросом? Кто из нас знает историю орочан, бурятов, кандагиров, тунгузов и сяти других? А?.. Ну, так послушайте.

IV

— Все мы, сибиряки, если на то пошло, от них и происходим, — генерал, довольный, посмотрел на собеседников: — Да, да. От кровей прежних монголов, которые два раза покорили чуть не весь мир, от соподвижников Чингис-Хана и от его потомков. Кровь наша и перемешалась с китайской, персидской, пинусской, я и не знаю еще какой другой — ведь монголы всюду вели себя, как победители, брали себе жен, паломниц от всех народов, да и не по одной, иногда десятками. Впрочем, рассказывать о монголах слишком долго, скажу лишь два слова о покорении Сибири на

поучение молодому инженеру, — он нам дорогу поскорей построят.

Так вот, дорогой мой, не Ермак, не Строганов, а не казаки покорили Сибирь, а покорила ее техника, вернее, баллистика и... пехота с артиллерией. Выслушайте до конца, а потом и удивляйтесь. Сибирь, как вы может быть знаете, досталась после Чингис-Хана одной из его ветвей, происходившей от Шейбана, дальнего его родственника. Наследники Тайбуга-бэки, который владел когда-то почти всей Сибирью, победили его.

Не буду рассказывать о внутренней розни и междоусобицах войнх монголов в Сибири, скажу лишь, что в середине шестнадцатого века ханом стал Кучум. Его враг, Уадигирь, пригласил на помощь Ивана IV, но был разбит Кучумом. Иван IV послал туда Ермака Тимофеевича, который, благодаря ружьям и пушкам, разбил в 1579 году войска Кучума, но в 1584 году те захватили врасплох Ермака, который и утонул в Иртыше, а Кучум занял снова всю Сибирь. Тогда русские стали шаг за шагом, пользуясь преимуществом своей артиллерии, захватывать сибирские города и земли, — монгольская конница, а пехоты у них и не было, не выдерживала пушек, была беспомощна против артиллерийского огня. В 1586 году была взята Тюмень, в 1587 — Тобольск, и в 1598 году разбит был, наконец, сам Кучум при реке Оби, после чего он и погиб в Ногайской орде, куда хотел скрыться.

Истребила монголов, дорогой мой, баллистика, точно так же, как раньше монгольское стремя, луки и стратегия победили почти весь мир! Монголы были кочевниками, всегда верхом на лошади, часто на ней и спали. Они и стреляли с лошади на полном ходу, рубились саблями верхом! Монгол надевал на войну кожаную шапку-каска, прикрывавшую и затылок, да со-

лидную кольчугу из толстой лакированной черной кожи. Его оружие составлял короткий лук с колчаном стрел, кривая сабля, топорик и палица, привешенные к седлу, да пика с серпом на конце для стаскивания противника с лошади. Веревка из волос конских хвостов для связывания пленных дополняла его вооружение. Стрелы монголов со стальными наконечниками могли поражать противника на 300-400 метров. Саблей, на полном ходу коня, он мог, благодаря стремени, раскроить череп человеку, как орех.

— Вы объясняете стременими, генерал, невероятные успехи монголов в средние века, или прогрессом их металлургии и стратегии? — заинтересовался польский граф.

— Всем вместе. Монголы были впереди во всех отношениях. Металлургию они взяли от китайцев и от иранцев. Вряд ли умели сами делать хорошую сталь для сабель и наконечников стрел, хотя на арабском языке сохранились монгольские технические правила для обработки их. Но стратегия монголов, вернее — их замечательное умение пользоваться кенницей, была их собственной, и других таких военачальников, как Чингис-Хан и, особенно, его знаменитый генерал Суботтай, вряд ли найдешь в военной истории. В битве на Калке, истребив и взяв в плен восемьдесят тысяч человек русских и половцев, Суботтай потерял лишь несколько монголов убитыми и десяток ранеными.

Что касается стремени, которым я, как кавалерист, придаю особое значение, то открываю это — монгольское и военные преимущества их использовали именно монголы. Заметьте, вопрос этот капитальный, так как мы имеем дело с кочевниками, которые составляли с лошадью, так сказать, одно целое. Не преувеличивая, скажу, что Европу и Римскую империю разгромило именно

монгольское стремя. Да, да! Именно, оно! Поэтому-то, думаю, монголы и заставляли побежденных целовать свое стремя в знак покорности, они-то понимали его значение. Сколько русских князей, польских, венгерских, немецких и всех прочих приложились к нему! Но это я — в шутку, а сейчас объясню вам военное значение стремья и их историю.

Кто и когда изобрел стремя — сказать невозможно, но уже в третьем веке до Р. Х. гуннам (тюрко-монгольского племени) в Сибири были известны ремешные петли, прикрепленные к спине лошади под попоной, в которые вдевалась для устойчивости нога всадника. В том же веке даже у китайцев, в эпоху «Шан», стреме́на известны не были, не говоря уж о Европе. В первом веке до Р. Х. у монгольского седла «Айротин» (на Алтае) имеются уже настоящие стреме́на — металлические: в том же веке они появляются у китайцев, которые сейчас же поняли их боевое значение.

Во время нашествия на Европу гунны имели стреме́на, благодаря которым бойцы крепко сидели на лошадях, тогда как римские, галльские, германские и другие всадники болтали погами на конях, как собаки на заборе. Ни упора для стрельбы из лука, ни для бросанья дротика на ходу коня, ни для хорошего удара копьём или саблей! Вы понимаете, какое невероятное преимущество было у гуннов, стрелявших на полном ходу из своего короткого сильного лука, опираясь на стреме́на, — к собственной скорости стрелы прибавлялось в случае конной атаки, быстрота коня. Благодаря стреме́нам они рубили саблей с седла сильнее, чем на земле. В Европу стремя попало от алланов, от «варваров», которые пересекли с Алларихом всю Европу и через Испанию дошли до Африки, где и остались.

Прививалось, однако, стремя плохо, — европейцы не

умели пользоваться конницей, не имели даже пѣнягия, как сражаться верхом, предпочитали заковывать себя, а то и лошадь, в тяжелые латы, чтобы избежать стрел и ударов противника. Легкой кавалерии в Европе не было, лошадь не могла бежать под тяжестью; устоять против сарацинских всадников крепкоосцы не умели и спустя много столетий...

Что же говорить о русских князьях и о наших горо-
вояках и лапотниках во время нашествия монголов? Русские, как и вся Европа, умели стрелять из лука лишь стоя на земле, и то плохо: луки у них были длинные, тяжелые, неповоротливые, пицали — и того хуже. О стрельбе же с лошади — нечего было и думать. Русский, польский, венгерский и другие всадники того времени даже не имели лука, а сражались лишь пикой, саблѣй, булавою да тепоном. Для безопасности рыцари заковывали себя в тяжелый панцирь и догнать монгола не могли, погиная зачастую от его стрел, пущенных издали на всем скаку.

Русская пехота, зная свое бессилие, защищалась «гуляй-городом», тяжелым частоколом — стеной на колесах. стѣда и отстреливалась, почти не целясь, до тех пор, пока не приходили ей на выручку или пока монголам не удавалось поджечь «гуляй-города» зажигательными стрѣлами и истребить затем его защитников...

По правде сказать, русское войско тех времен было похоже на толпу вооруженных чем попало людей, необученных, к войне не приспособленных, без командования. Монголы, повторяю, уничтожали их тысячами, сами зачастую не теряя ни одного человека... В те времена, господа, побеждала конница, побеждало стремя, умение пользоваться быстротой коня, побеждала возможность поражать противника издали и на полном ходу... Так же, как три века спустя конницу победила артиллерия,

оружие малоподвижное, но могущественное, оружие пехоты.

Все монголы от природы наездники, ноги у них циркулем, даже ходят они плохо. Словом — артиллерия не по ним, не по их ногам... Когда пушка сделала крупный успех (в особенности — благодаря Уралу, доставлявшему железо и медь на всю Европу), монголы утеряли свое преимущество: кони их, луки, стрелы спасовали перед артиллерией. Пехота покорила Сибирь, подобно тому, как ружье, которое краснокожие принимали в Новом Свете за ручную молнию, покорило когда-то Мексику, или как боевые лошади Веспуччи, которых туземцы считали за неземные создания, помогли банде авантюристов в триста человек завоевать богатейший край мира... Вот вам и вся музыка!

— А я думал, генерал, что Сибирь покорена Ермаком и казаками.

— Казаки, казаки, — повторил генерал, — сам я казак, да откуда они пришли, казаки-то? Что значит — «казак»? Не знаете?... Левко! «Казак», батенька, слово чисто монгольское и значит в переводе на русский совершенно точно — «авантюрист», «недовольный», вернее — «отщепенец». От монголов название это к нам и перешло, а ваши ученые затылки себе чешут, не знают, кошкины дети, откуда слово «казак» появилось. Так за этими людьми, за «недовольными», монгольское слово и сохранилось, с ними до Запорожья дошло, до Польши докатилось, Константинополь перцу задаю да и в Париже побывало! До наших дней за казаками оно и осталось, вместе со славой их и традициями.

И не одно только название. Казачьи чубы старого времени вы помните? Ну, как у Гоголя, или на картине Репина, где сподвижники атамана Сирко пишут письмо

судтану?... Так чубы эти самые — лучшее свидетельство о происхождении казаков. Монголы брили часть головы, а часть волос оставляли и заплетали в чубы. Белая Орда заплетала в два чуба, выпуская их около ушей из под шапки, Большая Орда или Золотая — в один. Этот монгольский обычай казаки и сохраняли столетиями. Даже теперь, что вы ни делайте, а хороший казак заломит фуражку набекрень, по старой памяти да из уважения к прадедам и выпустит из под нее косму волос... Случается, ругаюсь, а должен сознаться: действительно чуб придает казаку вид молодецкий, ухарский...

Да не одни казаки сохранили эту монгольскую традицию, хоть и не по той же причине. Коса китайцев, господа, откуда?.. Тоже от монголов, дорогие мои, от монголов! Со времен, когда те владели Китаем и когда коса служила там знаком благоверного подчинения монгольской династии; она и теперь еще служит. Хотя богдыхана больше нет, китайцы и посейчас не могут от этой глупой и неудобной привычки. Даже смешно, господа! Во время боксерского восстания, когда мы были в Пекине, наши солдаты балагурили: — Ну, и страна, ваше благородие, все с косами, а проухаживать не за кем!

V

Из вагона-ресторана мы не выходили целыми днями. Лакей, он же и метрдотель, ездил с экспрессом годами, знал большинство пассажиров по имени-отчеству, — их вкусы, привычки. Старался угодить каждому, он сочинял меню вперед, чуть ли не па всю дорогу.

— Что же ты нам, Петр Степанович, после Челябинска давать будешь? — спрашивал за соседним столом

оптовый торговец мехами, ездивший четыре раза в год в Россию с соболями, горностаями, лисицами, знавший всех и все.

— На Урале, Иван Себастьянович, горную козу нам приготовили; молодая, первый сорт, — я по аппарату справлялся. Думаю, ее на завтрак, послезавтрашний, ей надо денек-другой отлежаться. В Екатеринбурге, понятно, пельмени да стерляди из Камы — они куда лучше воложских: вода холоднее, чище. А от Челябинска на домашнюю птицу перейдем, там ее инеищей откармливают: индейки, гуси — первый сорт, особенно теперь, редку поклевавши.

— Птицеф, Петр Степанович, — вмешался генерал, — ты нас не удивляй, а вот прошлый раз ты молодого медвежонка подавал, — пальчики оближешь! Сочини-ка ты нам что-нибудь из дичины!

— Можно и из дичи, ваше превосходительство. Молодые кабаны теперь в самом соку, желудей пожавая; анжик с малиной будут. Потом, понятно, рябчиков уральских; кто любит — с душком, а кто попроще — посвежее можно. Да тетерочку в сметане. А на Ангаре — форелей.

И меню разрабатывалось, менялось, приспособляясь к желаниям, к желудку каждого пассажира. Всего было такое обилие, такого первоклассного качества и стоило так дешево, что, действительно, трудно было остановить выбор. Для вагонов-ресторанов по линии пробега поездов заготавлилось все, что было лучшего: балыки всех цветов и сортов, икра, стерлядь, дичь — все было потрясающее. Но к этому привыкли, никто в то время не ценил этого богатства... Оценили потом, да было поздно!

Экспресс наш незаметно приближался к Уральскому

хребту. Этот хребет — длинный, больше 2.500 километров с севера на юг, но невысокий, даже отдельные вершины не превосходят 1.800 метров, то есть не доходят до полосы вечных снегов. В местах, удобных для перехода, горы еще ниже: мы пересекали их на высоте всего 400 метров. На юге холмы Урала мягко сливаются с окружающей степью и пропадают, не доходя до Каспийского моря.

По внешнему виду Урал напоминает Пиренеи. Подъемы — мягкие, постепенные, возвышенности — пологие, не замечаешь даже, что поднимаешься все выше и выше, что скоро покинешь Европу и очутишься по ту сторону — в Азии. Холмы и горы Уральского хребта округлены, камни и скалы давно уже разложились под действием влаги и морозов, обросли травой, кустарником, лесами. Почти не видно голых, как в Альпах, скал и утесов, где нельзя прокормить тощей козы и где растут лишь душистый тмин да дикая лаванда.

Холмы и горы Урала лесисты; летом они зелены, богаты сочной травой, зимой — белы от снега с темными тенями на перегибах складок. Холмы тянутся выше и выше, почти незаметно для глаза, до самого хребта, условно отделяющего Европу от Азии; другой естественной границы между двумя материками, как вы знаете, нет. Рельсовый путь, войдя в полосу уральских гор, тянется по возвышенностям и холмам, то прячась в ущельях и в выемках, то небесная сталью рельс по насыпям, занесенным с обоих боков, снегом. Наш поезд бодро стремился вверх, скрипел на переездах, вагоны слегка покачивались, паровоз пыхтел, напрягая силы на очередных подъемах. Он избегал, казалось, мысовых гор: рельсовый путь не осмеливался атаковать их, а старался их обойти, взбирался на перевалы, опи-

сывая широкие кривые, выбирая уклоны поотложней, пользуясь насыпями, выемками, берегами горных речек, ручейков. Видно было, что строители дороги старались сократить время и затраты на сооружение линии, пещему и обошлись без трудных, дорогих тунелей.

По обеим сторонам пути виднелся лес, засыпанный теперь глубоким снегом — на Урале не редкость снег толщиной до двух метров и больше. Ближе к пути лес частью был сведен: торчали только пни в белых снеговых шапках да кустарник, еле видный под снежным покровом. Подальше от пути стояли то там, то здесь запущенные снегом уральские деревья-великаны, которые давали когда-то мачтовый лес, знаменитый на всю Европу. Лес смешанный. Виднелись огромные липы, буки, пихта, кедры и березы с могучими белыми с черным стволами, — они стояли весело и бодро с легким грузом снега на ветвях, как бы посмеиваясь над своими соседями, елками, пихтами, елями, утопающими в снегу, с низко наклоненными ветвями под тяжестью серебристого груза. Резко выделялись величиной и темно-зелеными большими иглами огромные уральские кедры; дубы стояли порознь, не подпуская близко к себе соседей: дубы, могучие целюдимы, убидают вокруг себя молодняк, не желая ни с кем делиться ни влагой, ни светом, ни благами почвы...

Поезд скользил дальше и дальше, колеса равномерно постукивали на стыках рельс... Никто из пассажиров и не заметил, как промелькнул казенный столб с надписью: «Европа — Азия». Шли все те же выемки, леса, уклоны, насыпи: только паровоз вздохнул теперь свободнее, полной грудью, и побежал веселей. Манинкет стал иногда и притормаживать, мы катились вниз, по Азии, мы въезжали в Сибирь.

VI

На станциях отбоя не было от продавцов, предлагавших уральские камни в оправках из золота и серебра или просто граненые, еще не вставленные в оправу: изумруды, сапфиры, аквамарины, бирюза, одни другого лучшие и чище, но цены столь низкой, что сомневаешься, настоящие ли, — группы из яшмы и малахита, бедные фантазией, но чудесного выполнения, пресс-папье, приборы для рукоделия, целые столы из какого-то камня или минерала. Особенно поражало меня чугунное художественное литье: некоторые сложные фигуры прямо из литья без обработки и без давления (тогда этот способ отливки еще не существовал) обладали деталями толщиной в миллиметр, не больше, при значительной длине, и отливка была без малейшего дефекта.

— Вот вам Урал, батенька мой, — восторгался генерал-атаман, — тут такие мастера были, других таких во всем свете не сыщешь. Теперь вымирают, заводы остановились, работать негде и не для чего; скоро и совсем разучатся.

Упадок Урала был мне известен еще с института, но атаман знал то, чего мы не проходили. Когда-то давно, то есть в XVII и XVIII веках, уральская промышленность была первой в Европе по качеству и количеству железа и чугуна. Изделия Урала посылались в Европу, во все страны света, конкурентов по качеству не имели. Но техника сделала большие успехи, появились новые способы производства, открыты были новые бассейны руд и топлива, и Урал был побит не только Европой, но и югом России.

Владельцы заводов (их было немного, несколько богачей из рода в род) владели почти целиком всей огром-

ной территорией) ничего не сделали, чтобы оживить умирающие производства: потребности у них в том не было, и так были слишком богаты. Графу Строганову принадлежало на Урале больше двух миллионов десятин земли, вся соль, шестнадцать металлургических заводов, пятьдесят два золотых рудника; Демидову-Сан-Донато — немногим меньше; Шувалову — около миллиона десятин, вдобавок почти вся платина; Абамелик-Лазареву да еще кое-кому принадлежало остальное. Эти владельцы жили за-границей: на Урале, в России почти не бывали.

Демидов женился на племяннице Наполеона I-го (за что ему и был дан титул князя Сан-Донато), был избран во Франции в Академию, которой посвятил всю свою жизнь и все средства, получаемые с Урала. Княгиня Матильда, его разведенная жена, была знаменита литературным салоном в Париже, покровительствовала писателям, артистам, в течение чуть не сорока лет играла, за счет Урала, первую роль среди парижской аристократии. Но заводы Демидова понемногу истощались, разорялись, были заброшены. Княгиня Абамелик-Лазарева по русски тоже не говорила, в России никогда не была, жила (может быть и сейчас живет?) во Флоренции, и ее имение в Фиезоле известно каждому, кто бывал в Италии и интересовался искусством. Туда, в Фиезоле, были перекачены за десятки лет соки и богатства Кизеловского округа, имения Лазаревых с миллионом десятин земли и сказочными горными богатствами.

Строгановы тоже жили в Риме, дворец их известен всем, но последний граф Строганов переехал во Францию и проживал в Париже или на Cap Estel около Монте Карло. Там этот несчастный самодур не так давно скончался, истратив во Франции более полумил-

лиарда золотых франков, — доход его уральских лесов и заводов. Владений Строгановых нельзя было даже оценить, слишком велики были, но заводы их так отстали, что там еще недавно можно было видеть в работе машину Уатта с коромыслом, постройки 1842 года. Строганов не желал ничего менять, новшествами не интересовался, слишком поглощен был парижской жизнью и женщинами, а умер чуть ли не в бедности, разоренный своей последней женой, французенкой-судомойкой.

— Представьте себе, господа, я сам знал ее и несчастного, когда-то гордого, недоступного графа Строганова, бывая часто у него на вилле в Cap Estel; я играл с ним в какую-то детскую игру с корабликами, видел продранные сапоги на нем и безумную расточительность этой ненасытной метеры.

Другие заводы и почти вся остальная часть Урала принадлежала казне или уделам, то есть императорской фамилии; эти владельцы были окончательно неспособны ни на какое оздоровление Урала, да и не желали этого; с рабочими и так хлопот не оберешься, зачем же увеличивать их число, да еще в отдаленных местах, где надзор труден? Металлургия Урала влячила существование, пока вокруг заводов были леса. Когда же их свели и топлива на месте не стало, а дорог для подвоза топлива строить не хотели, — заводы остановились, руду забросили. Угля каменного не нашли, да и не искали, нефти не было...

Оживила Урал и возвратила заводы к жизни, без сомнения, советская власть. Постройка Магнитогорска и связь его с Кузнецким угольным бассейном — событие исторической важности. Европа его не оценила, даже высмеивала, но будущее покажет значение этого грандиозного предприятия. Говорят, советские инженеры нашли на Урале и спекающийся каменный уголь, необхо-

димый для доменных печей, а также богатые залежи нефти.

VII

За Уралом, от Челябинска, начинается Сибирская дорога и почти на три тысячи километров тянется богатейшая равнина. В то время она была еще мало использована, но открывала такие возможности, что даже плодородные степи Украины и Приволжья отступали перед ней на второй план. Мои спутники говорили о необходимости постройки второго рельсового пути, --- об осуществляемых, но частично, --- о подъездных линиях, без которых степи не могли развиваться (вследствие невозможности вывозить продукты), о шоссе и грунтовых дорогах, о фабриках и заводах, необходимость которых чувствовалась всеми. Я смотрел на карту, смотрел кругом себя и торжествовал, --- сколько было полезной работы впереди, сколько заманчивых перспектив! Было где приложить свой труд и энергию на развитие страны, на пользу народа...

— А теперь, вот видите, --- обратился инженер к своим парходным спутникам. --- сижу я с вами на бывшем русском пароходе, еду куда-то в Африку... Работал я и в южной Америке, а где буду работать потом, и сам не знаю; только не дома! Как и вы, которые едете на черный материк... Там, на родине, и без нас обошлись. Ну, что же, давай им Бог, лишь бы преуспели!

— Вы из России давно выехали? --- спросил рассказчика офицер-спаги, --- какие-нибудь сведения оттуда имете?

— С 1916 года я в России не был, революции и большевизма не испытал, никаких сведений оттуда не имел и не имею. О большевизме, впрочем, говорить не будем,

хотя бы уже потому, что и вы, и я мало что о нем знаем. Продолжу лучше свой рассказ, хотя подвигается он плохо, все отвлекаюсь. Впрочем, поспеем: до Туниса времени не мало.

— На Урале, в Сибири, и правда, было много золота? Почему же его так мало разрабатывали? — спросил артиллерист-политехник.

— Ответить точно затрудняюсь; сам я золотом не занимался, но думаю, что его очень много: недаром большевики так увеличили добычу, и в самый короткий срок. Про золото Урала, впрочем, я здесь говорить не буду, а что до Сибири, то могу привести два случая из моей жизни на Амуре; только, извините, опять от сущности рассказа отойду. Первый случай таков.

Еду я как-то из Нерчинска в Благовещенск на перекладных; случилось это в начале работ по постройке Амурской дороги, рельсовый путь был еще только на бумаге. Зима. Мороз — около тридцати, да по Реомюру. Пока дорога шла тайгой и ветра не было, терпеть можно, но как съедешь на какую-нибудь замерзшую, со скалистыми берегами речонку — а их много, то беда: ветер, как в трубе; больше двух, трех часов в возке не высидишь, несмотря ни на какую шубу и доху. Да и доха не всякая, а местная, сибирская; никакой другой мех не годится. Делается она из шкуры сибирского оленя, сохатого (это потому, я думаю, что рога его напоминают допотопную соху). Шкура сохатого и спасает всю холодную Сибирь...

Мех чрезвычайно любопытен с точки зрения термической. Шерсть не длинная, не густая, — удивляешься даже, как может она держать тепло, но каждый волос толст и пуст внутри. Погнешь его пальцами, он ломается, как тончайшее стекло, и даже простым глазом в нем виден внутренний канал, наполненный воздухом.

Потому-то эта шкура и чрезвычайно легка и сохраняет тепло, как никакой другой мех. А стоила такая доха, на любой рост, всего от восьми до одиннадцати рублей; я забыл уже причину разницы в цене. Расход же этот был обязателен для каждого, иначе пропадаешь от холода.

К сожалению, сибирская доха держится лишь одну зиму: осенью надо покупать новую: лета и вообще тепла она не переносит. Обрабатывается шкура сохатого самым простым образом, пахнет плохо, но, повторяю, тепла и легка замечательно. Доху из нее надевают поверх всего, выходя на холод; входя же в дом, оставляют ее на морозе: внесешь в тепло — вся шерсть рассыпается, как хрусталь: воздух в канале расширится от тепла, и волоски лопнут. Со мной был такой случай; остановился я на станции для смены лошадей, заговорился, сижу в избе в дохе. Согрелся, хочу уходить. — весь мех на полу, шкура голая! Пришлось бросить ее, купить другую, спасибо — расход небольшой.

Есть в Сибири и другая замечательная штука: валенки. Продаются они на фушты, от восьми до восемнадцати футов; чем тяжелее, тем дороже, но и теплее. Их особенность та, что при покупке вас спрашивают: «Обношенные или новые»? В первый раз я обиделся: «Пснятно, — новые!» Продавец удивился: «У вас свой каторжник?» — «Какой каторжник, зачем?» — «Для обноски». И тут он мне объяснил, что валенки выходят с фабрики на круглой колодке: чтобы дать им форму, удобную для ноги, надо их размять, поносивши неделю-другую. Это причиняет сильную боль: обыкновенно и дают обносить новые валенки каторжанам за известную плату. Обношенные — они грязны, пахнут сиверно, но мягки и ногу не жмут. Ходить в них, однако, нелегко, нужен большой навык: но на снегу они держат отлично, благодаря широкой площади опоры, и теплы так, что да-

же в пятнадцатифунтовых никакой мороз не страшен. Валенки сохраняются годами, переходят от отца к сыну; одна пара служит часто на всю семью. Нередко можно видеть мальчонку лет девяти в семимильных валенках с отцовской или деиовской ноги; к этому все привыкли, никому смешным не кажется. Да с сибирским морозом и не посмеешься!

Итак вот, закутался я тогда в свою русскую шубу, надел сверху доху сохатого: негам тепло в сибирских валенках с ноги какого-то каторжника; сижу, вернее, ползуче в возке, дремлю да думаю: поскорее бы станция! Когда вы выходите из дома, согрившись да выпивши горячего чаю или поев жирных пельменей, вам хорошо — холода не чувствуете. Часа же через два дороги, когда запас вашего тепла истощится, постепенно начинает казаться, что вы сидите голый, что по всей коже преходит холодок, что и спина, и грудь, и все тело стыннут... Ах, скорее бы в тепло! в какую угодно хату, куда бы то ни было, но дальше от мороза, — иначе пропадешь! Не пошевелит туг ни движение, ни бег; да и как бежать, как идти даже в этих полунудовых валенках да в двух дохах? Станции для смены лошадей и обогреваия пассажиров так и распределены, приблизительно через каждые три часа, — больше не выдерживают и лошади, хотя сибирская природа наградила их способностью выраивать на зиму собственную шубу: они покрываются длинной шерстью, которая их и спасает.

Лежу, ожидаю, когда же можно будет обогреться... Вдруг — свист, резкий, разбойничий. «Грабители», думаю, «убьют!» Смотрю кругом, — никого. А мой ямщик, молодой казак, хохочет, улюлюкает, да снова два пальца в рот, и свист такой, что уши режет.

— На кого это ты?

— Все там, старатель! Ишь, как стрикает!

На скалистый берег карабкается, вижу, какая-то фигура, но далеко, разглядеть хорошо трудно.

— Чего же он убегает? Свиста твоего испугался, что ли?

— Понятно, испугался! Колокольчик слышал, вас за надзираемого принял, да и я его припугнул; ну и дал драпу.

— Кого же он боится? Надзирателя?

— Понятно! Схватят, золото отберут, а самого — в кузюку. А побежит — и пулю получить может.

— Что же он тут делает? Золотой песок промывал? Воды ведь нет, все замерзло.

— А лес на что? Сухостою наберет, лед в котелке растопит — и моет.

Мало был я сведущ в добывании золота, но мне казалось, что для промывки песка надо иметь какую-то проточную воду или большой запас ее; не в котелке же из льда добывать. Захотел посмотреть:

— Ну-ка, брат, покажи... Как он тут работал?

Ямщик свернул с дороги и по глубокому снегу подвез меня к яме, откуда за несколько минут до того убежал ее владелец.

— Дай-ка револьвер. — обратился ко мне ямщик, вылезая из возка.

— Зачем? — спрашиваю.

— Припугнуть надо, а то как бы он пулю вам не послал.

Я вылез, дал ему мой браунинг. «Бум-бум», выстрелил ямщик куда-то в берег и отдал мне револьвер.

— Теперь ничего; драть будет до завтра! Да это «ходя» работает, — добавил он, рассматривая какой-то мусор вокруг ямы: — Дрянь какую жрет, — толкнул он валенком какую-то лепешку, — у нас собаки и те не едят их гасляна, а он хоть бы что!

Я наклонился над ямой и, к своему удивлению, увидел колодезь, метра в четыре глубиной, почти круглый, какого-то странного, голубоватого цвета внутри. Грубая лестница вела на дно. Забыв про мороз, сбросил я доху и шубу, лезу вниз. Валечками трудно нащупывать ступеньки, но спускаюсь. Опустился почти до дна; лед вокруг, за ним вода, и я как в аквариуме. Ледяная, прозрачная круглая стена, толщину которой нельзя определить, отделяла меня от воды. Местами стена эта матовая, цвета колотого льда, через нее не видно ничего; местами прозрачна, как стекло, видна вода, даже рыба плавает... Прямо чудеса! Опустился на самое дно. Там замерзший речной песок, галька, небольшой ломик, — старатель забыл его унести. — да пригоршней десять накопанного песка в самой глубине. Взял я горсть, полез поскорее наверх: не залиться бы в этом аквариуме!

— Видели?.. Песку взяли? — спрашивает казак, когда я показался из ямы.

— Вот! — даю ему пригоршню. Тот стал греть песок дыханием, растопить.

— Так и есть! Вот оно, золото. Богатая яма, — показывает мне круинки с желтоватым блеском: — Бывают ямы, что с полшуда золота намоют, как ниночем!

Уселюсь, выехали снова на дорогу.

— Ты тоже копал? — спрашиваю.

— Ну его к лешему! Золото копать — последнее дело; все равно, что коней красть. Выгодно?.. Бывает и выгодно, а другой раз и пулю получишь. Золотом беглые каторжане занимаются: им терять нечего. Потом вот китайцы, которые поотчаянней или с горя, что джень-шень не нашли.. Из наших же — разве прощальне какие. Когда ребятами были, понятно, каждому лестно хороший самородок найти, да поздоровше!

Я, барин, раз вытащил такой вот, в кулак, — показывает мне свой кулачище, — фунтов десять весил. За кэтой ходил, рыба такая у нас есть, икру хорошую дает; самородок и почался, между камней лежал в глине-то. Страсть, как заплакался я потом: дома драли, драли; толку от самородка никакого, куда его денешь? На кривого коня баты его и сменил, да конь сдох скоро. Вот тебе и самородок!

— Врешь, брат! Такой самородок тысяч десять стоит должен, а ты — на коня кривого?

— Стоить, может, и стоит, если бы законный был; а без закона куда его перенесешь? В казенную плавильню?.. Спросят, откуда взял, где разрешение? Отберут да в кутузку! На ту сторону завезешь?.. Перейти надо, а тут кордон пограничный наш, а там китайский; поймают, еще хуже будет: самородок-то с кулак, куда спрячешь? А у нас, кому его продашь? Никто не покупает, все боятся. Вот тебе и золото!

— А как река эта называется?

— По ороченски — «Амазар». Тут орочане раньше жили, и теперь они еще есть. А по русски, стало быть «Золотое дно». Оно и верно, тут золота сколько хошь, да, говорю, кто заниматься-то им будет? Один несчастные, как вот тот, что от моего свисту в лес драпу дал. А который накопает, того другие, гляди, пристрелят, которые на чужой труд охочи: у нас их тут беда сколько, охотников-то этих. Золото, как вода, меж пальцев уйдет!

— Как же они колодцы так ловко устраивают, в воде-то?

— Чего же тут хитрого? Летом колодину в реке хорошую запрямят, куда вода песок сносит, а когда морозы покрепче подойдут, прорубь делают. Днем лед на половицу снял, — за ночь опять толще станет, вглубь и

растет; днем опять снимай половину, — так до дна и пойдешь. Чего же тут мудреного?

Русское старое правительство поощряло разработку лишь золота жильного, в твердых породах, что требовало очень крупных затрат на оборудование и доступно было только богатым компаниям. Для рассыпного же золота отводились небольшие площади, лишенные всего, куда, собственно, никто идти не мог. Давались разрешения иногда и на хорошие участки, но требовали драг и обязательной выработки, что редко было приемлемо и доступно опять-таки лишь богатым компаниям, вроде Ленской-Гольдфильс или французской компании на Зее. Кроме того, выработка золота строго контролировалась и должна была сдаваться в казенные плавилины по низкой цене, приблизительно в половину его рыночной стоимости. Компании старались утаивать добычу, входили в стачку с надзором, чтобы сохранить часть золота и продать его на ту сторону Амура, в Кигай, по справедливой расценке. Были и казенные разработки каторжным трудом, но они, как и все казенные начинания, хороших результатов не давали. Золото же в Сибири есть почти во всех ручьях и речках, так как дожди и весенние воды, размывая грунт и скалы, выносят золото, катят и несут его вместе с песком по дну рек и речек, а шуга, донный лед, уносит его и дальше.

В результате целого ряда административных формальностей, население лишено было всякой возможности заниматься разработкой золота, да и желания не имело: удивительные порядки отбили навсегда охоту. Самородки имели еще кое-какую цену у населения и в маньчжур, но только небольшие: из них делались, тайком понятно, запонки для манжinek и рубашек, а на китайской стороне — пуговицы для верхней одежды богатых кигайцев. У меня позже собралась хорошая горсть

таких самородков; я заказал себе в Благовещенске гарнитур: две запонки величиной с десятирублевку и три поменьше для рубашки. Старался подобрать форму и узор одинаковые, что очень трудно: самородки одни другого причудливей. Мне удалось собрать довольно похожие друг на друга, и сначала запонки мои казались мне красивыми; потом мода на них прошла: у всех они были, даже у мелких приказчиков; кроме того они чернили рубашку и манжеты. — я и променял их на запонки «фикс» какой-то заграничной работы, те были более удобны да и в большей моде и почете на Востоке.

VIII

Был и второй случай, когда я еще раз убедился в богатстве сибирских залежей. Проезжал по строящейся линии начальник управления дорог (третий по старшинству путейский чин после министра). Сопровождал его и я, уже как начальник отдела автомобилей.

На одном участке, при осмотре работ, представляют ему молодого незрелого инженера с двумя мелкими золотого песку, по два пуда каждый. Начальник постройки объясняет, что инженер Панфилов, делая довольно крупную земляную насыпь, обратил внимание на значительное содержание золота в резервах. откуда бралась земля для засыпки, и на ручеек внизу оврага. Он запрудил ручеек немного повыше, отвел воду в резерв и стал промывать землю на простом станке собственного устройства и только уже после промывки — отправлять ее в насыпь. Удорожание от этого получилось ничтожное: насыпали около пятисот кубов земли, а золота намыли четыре пуда, которое и представили по начальству.

Можете, господа, сосчитать содержание золота уже по этим двум цифрам. Слушаю объяснение и думаю: «Молодец Панфилов, хоть и замухрышка с виду, а должен получить благодарность за находчивость и распорядительность: золотом всю пасынь оплатил!» Начальник управления выслушал, не дотронулся даже до мешков, да как напустится на маленького инженера: «Вас пригласили сюда для постройки дороги или для золога? Разве это ваше дело? Кто разрешил вам заниматься промывкой? Вы, значит, о золоте думаете, а не о постройке! Таких инженеров нам не надо, потрудитесь подать рапорт об увольнении». Лишь вечером удалось уговорить его смягчить наказание, перевести Панфилова на дистанцию с понижением.

Год спустя, в Петербурге, я позволил себе спросить этого начальника о причине гнева, которого я объяснить себе не мог. «А вы», ответил тот, «знаете Скальковского, начальника горного департамента? Он не допускает никакого вмешательства в горные дела и обиделся бы, если бы мы сделали официальное представление о промывке золота, на которое права не имели, и о мешках, намытых этим дураком. У Скальковского такие связи, что лучше с ним не ссориться: пусть оно пропадает, это поганое золото!»

Вот каков был ответ большого администратора, очень умного и знающего инженера, редкого работника и абсолютного бессребреника.

Вскоре пришлось мне встретиться по другому делу и со страшным Скальковским. Это был обаятельный светский человек, лучший, кажется, в мире знаток балета и женщины. Его книга о балетном искусстве—евангелие для всех в этой области: писал он также о женщинах и, говорят, неплохо. В русском императорском балете Скальковский играл первую роль, как критик и ценни-

тель. Он знал всех балерин и их любовников; был приятелем со всеми представителями балетного мира и, благодаря танцовщицам, был своим человеком у великих князей, у министров. Связи его были колоссальны, влиянье — огромно: ни одно повышение танцовщицы, ни их посвящение в балетные звезды не обходилось без Скальковского, так же как и приглашение из-за границы на гастроли или на службу в Россию новых светил балетного мира и каждой звездочки, подававшей надежды. Если в Париже, в Милане, в Лондоне появлялась новое «на» или в бордебалете обнаруживали танцовщицу, заслуживающую интереса, Скальковский мчался, чтобы видеть, оценить, замолвить слово кому следует... Был ли у него время или охота заниматься каким-то делом на Амуре или самородками в руках грязных мужиков, китайцев, казаков! Единственно, что он успевал, это не позволять никому затронуть прерогатив его департамента.

Пришлось мне однажды быть у него на дому. Не знаю, была ли у него семья: если да, то помещалась она, вероятно, на чердаке или в кухне. — Огромная квартира его была сплошь занята коллекциями по балету. Он показал мне целый зал, наполненный туфельками балерин, начиная со времен зарождения классического балета. Не было ни одной страны мира, откуда бы балерина не прислала Скальковскому своей туфельки. Все они были за номерами, с характеристикой их владельцев, ролей и качеств их, и хранились, как музейные ценности. Другой зал, еще больший, отведен был балетным костюмам, к которым приставлен был специальный человек для хранения. Что собрал Скальковский в третьем зале, более интимном, я не знаю; туда он меня не ввел, я не был посвящен в тайны балетного мира.

Портреты балерин, танцовщиков, профессоров и зна-

токов балета покрывали стены в квартире Скальковского: балетом только и занята была его голова. Я не увидел у него нигде ни одного куска металла или минералов, горных пород и других образчиков богатства России, ни нефти, ни угля... И этот человек, чуть не четверть века стоял во главе горного дела, бесценно, полновластно!

Тронуть Скальковского никто не смел; его знал и ценил весь двор, сам государь; да и балерины выцарапали бы за него глаза всякому, кто осмелится бы чемнибудь не угодить всесильному знатоку балета. А балерины в России, как весталки в Риме, имели все права. Цинизм Скальковского был известен всему Петербургу, так же как и его беспринципность. Рассказывали, что одному из нефтяных королей потребовалась новая нефтяная площадь, которая по закону должна была оставаться в резерве. В кабинете Скальковского нефтяной король, изложив все доводы для передачи ему этой земли, добавил: «Сто тысяч рублей вам, дорогой друг, и никто знать не будет!» — «Триста тысяч», — спокойно ответил тот, — «и пусть весь Петербург знает».

Должен добавить, что большевики сумели преобразовать добычу золота в России уже в первые годы своей власти. Нужда в золоте заставила их пересмотреть в корне все это хилосе дело, найти здоровые методы и нужных людей, чтобы увеличить добычу до огромных размеров, — каких точно, мы не знаем, цифры опубликованы не были, они известны лишь приблизительно.

Дело в том, что после гражданской войны Россия нуждалась во всем, русская промышленность была в корне подорвана, разрушена. Заграница ничего даром, повитно, не давала; займа заключить было невозможно, рублей никто не брал, требовали золото или, в крайнем случае, соглашались на уплату векселями, но на корот-

кие сроки и с обеспечением. Эти советские векселя и были малой небесной для заграничных банков и дельцов, учитывавших их по тридцати и более процентов. Так длилось года четыре-пять. Большевики покупали продукты питания, машины, оборудование; заказывали фабрики и заводы, приобретали целые производства. частично ухитрялись оплачивать золотом, частично переписывали векселя, оплачивая учет и вновь покупали, вывозя из России и лес, и платину, и картины старых мастеров. Они сделали огромные усилия, приобрев за границей новейшие драги и оборудование для добычи золота, как жильного, так и рассыпного, выписывали себе на сказочных условиях не балерин и не оперных артистов из Европы, а специалистов инженеров и мастеров по добыче золота из Америки и южной Африки и быстро поставили это дело на твердые ноги.

Шесть-семь лет спустя о кредите не было уже и речи, векселя были выкуплены, и вся невероятная по замыслу и размерам программа пятилеток с покупкой за границей огромного количества машин, станков и оборудования, вся эта программа оплачена была золотом, добытым из недр земли советским народом, — от старого русского золотого запаса и осталось ни гроша! Значительная часть его была внесена еще царским правительством в неприкосновенное депо для обеспечения военных заказов во Франции и Англии, и вклады эти, несмотря на условие абсолютной неприкосновенности, никогда союзниками возвращены России не были. Не мало золота ушло на оплату Германии контрибуции по Брест-Литовскому договору и поступило затем в распоряжение союзников. Другая часть была истрачена на платежи Латвии, Литве, Эстонии. Семьсот миллионов рублей золотого запаса из Казани были вывезены адмиралом Колчаком во время его отступления. В Ир-

кутске и был совершен возмутительный торг чехословаков генерала Сырового, охранявших Колчака и «золотой» поезд, с большевиками, при участии и с согласия генерала Жапэна. Чехи выдали Колчака и все его окружение, передали большевикам и поезд с золотом, получив за это свободный выезд из России через Владивосток (со всем награбленным имуществом) и два вагона золота. Это-то золото и составило затем капитал чешского банка легионеров в Праге.

IX

— Ну, господа, от рассказа я опять отбилась: если дальше так будет, то до Благовещенска и не доедем. — в Туинс раньше приплывем. Придется мне прогнать и Сибирскую дорогу, и Забайкалье. Когда нибудь в другой раз расскажу об этом, в Сфаксе или в Суссе, — холодку сибирского вам напущу в жаркую африканскую пустыню: а пока скажу лишь несколько слов о Байкале.

Байкальское море или озеро, к которому мы приближались тогда в экспрессе, было сковано льдом и засыпано глубоким снегом. Впрочем, лед мог быть пока только у берегов, по которым мы следовали. Байкал замерзает обычно в декабре и толщина его льда достигает в конце зимы до полутора метра, а озеро очищается от него полностью лишь в мае. Теперь, кроме гладкой белой пелены, ничего на нем не было видно.

Должен сейчас же заметить, что все сибиряки обижались на меня, когда я называл Байкал «озером», как указано в географии, — для них всех оно было «морем». Они превносили его размеры. — длина Байкала чуть не тысяча километров с севера на юг, в шири-

пу он гораздо уже, — удивлялись его глубине, которая в иных местах доходит до 2.000 метров (как в океане). средняя же глубина — около семисот метров, без единого мелкого места. Сибиряки восхищались красотой его берегов, чистотой и прозрачностью воды, рыбой, омулями, даже буями.

Не так давно еще, летом через Байкал переправлялись на парохде, а зимой — на лошадях или в поезде по льду. Кругобайкальская дорога, законченная незадолго до моей поездки, облегчила путешествие, сделала обход Байкала по южной его части почти незаметным. Все пассажиры находили, однако, что при старом способе, летом — по воде и зимой по льду, можно было лучше понять дикое величие Байкала и красоту его берегов.

Мне говорили, что выдвигали куски рыб из Байкала, покрытых невероятной чешуей. Рыба эта живет на тысячеметровых глубинах и чешуя должна, следовательно, выдерживать давление воды в сотни и больше атмосфер. Внутренние органы этой рыбы имеют такое напряжение, что вынесенная иногда вулканическими толчками на поверхность воды, рыба разлетается вдребезги!

— Представьте себе, — говорил один из моих спутников экспресса, — буряты называют эту рыбу льявольской, а самый Байкал почитают священным; шаманы их уверены, что в этом месте — дорога на тот свет, лишь прикрытая водой. Еще не так давно они ухитрялись время от времени приносить человеческие жертвы, бросая в Байкал живых людей, с привязанными к шее тяжелыми камнями, чтобы умиротворить злых духов.

Причина такого обоготворения понятна. Байкал образования вулканического. Он никогда не был покрыт водой океана, это море единственное в своем роде. Геологический процесс его еще не закончен; нередко среди

бсла дня и при совершенно спокойном море, вода в одном месте забурлит, заклоочет, станет вдруг подниматься, как будто закипит — огромные волны побегут к берегам, — настоящая буря! Прямо ужас! Что-нибудь, вероятно, прорвалось на дне Байкала, вода проникла внутрь еще не потухшего вулкана, превратилась в пар и среди совершенно тихого дня взволновала всю огромную поверхность этого моря.

Расхваливали мне и берега, почти сплошь будто бы из мрамора качества и красоты изумительной. Но все тогда было занесено снегом, — как ни старался я разглядеть этот мрамор, ничего не увидел: приходилось верить на слово, внося на всякий случай некоторый коэффициент для поправки.

Сейчас же у берегов Байкала возвышенности Баргузина доходят до 2.000 метров высоты, а в воде недалеко от берега — 2.000 метров глубины! Даже посреди лета температура воды всего около $+3^{\circ}$. Лед Байкала выдерживает тяжесть пассажирских поездов; в этом море водятся «черны», той же породы, что и в Ледовитом океане, и имеется целый ряд животных, которых нет нигде в мире и которые составляют так называемую «байкальскую фауну».

— А вода? — вступил в разговор долго молчавший генерал-атаман, всматриваясь в гладкую поверхность озера под снежным покровом: — Холодна, как лед, даже в самые жаркие дни, а чистоты такой, что простоят год — не испортится, что ваша крещенская.

— Толка в ней мало, генерал, — ответил я.

— Как мало? А рыба? ее качество, вкус? Наконец, — масса? Сила ее — это вам фунт изюма? Знаете ли вы, молодой человек, что весь Байкал выливается по одной Ангаре. Быстрота в ней такая, что редкий пароход может справиться с ее течением, и энергии в ней столь-

ке, что, использовав ее, можно осветить весь центр Сибири, фабрики и заводы кругом поставить.

— Кто работать-то будет? Людей здесь нет, и делать нечего... Куда энергию девать?

— Люди, милый мой, последнее дело! Их всегда можно привлечь, привезти. А что делать? Да тут богатства хоть отбавляй, лопатой копать! Лишняя энергия осажается — в другие районы отправляй. Далеко? Ничего, техника найдет способ передавать энергию без значительных потерь и на большие расстояния. Ведь сотни лет энергия зря пропадала!

Я молчал и думал, что хромо́й генерал-атаман, герой прошлой войны, может быть и прав... Естественных богатств Байкала я не видел и говорить о них не буду, но по новейшим подсчетам большевиков, одна Ангара может дать чуть не десять миллионов лошадиных сил, то есть в одиннадцать раз больше, чем Днепр. К этой петровке они скоро, будто-бы, хотят приступить, — но куда денут они эту ужасающую массу силы, хотя бы и даровой, какие промышленные центры, где и что создадут вокруг Байкала или близ него — этого я не знаю, об этом пока не читал ничего.

Х

В Чите расстался я со своим спутником-атаманом и с остальными: все они ехали на Владивосток через Манчжурию, на Сретенск ехал я один.

— Как один? — перебил офицер-политехник, — где же женщина, которую вы раздавили на счастье?

— Про женщину-то я и забыл! А рассказать стоит; вам, молодым, может пригодиться; кстати и характер сибиряков и сибирячек увидите. Так вот, представьте

себе, однажды ночью, не доезжая до Иркутска, сплю спокойно в своем купэ — стук в дверь. Проводник спрашивает, не разрешу ли я одному господину с дамой доехать в моем купэ до Иркутска: купэ свободных больше нет, а в моем четыре места. «Пожалуйста», говорю — «только я раздет, пусть дама не взмечет». Повернулся к стенке, чтобы новых пассажиров не стеснять, и снова заснул, — в молодые годы хорошо спится!

Среди ночи просыпаюсь, оглядываюсь, ничего не принимаю: в фонаре горит свеча, бросает легкий бегающий свет по купэ; на соседнем со мной диване кто-то спит под дорожным одеялом, из-под которого выглядывает колено и часть свесившейся ноги в женском чулке; чулок слегка спустился, видна полоска голого тела. Собираюсь с мыслями: «Кто?.. Откуда?..» Заснув, я все позабыл, но вот припомнил, что ночью выпустил к себе господина с дамой. Вижу теперь ясно: на нижнем диване — дама молодая, а на верхнем, над ней, — господин, и оба спят. Стараюсь заснуть опять, да где там! Заснул бы, если бы не эта полоска, да так близко, прямо под рукой... Борюсь с собой, закрыл глаза, повернулся к стенке, а бес соблазна да молодость, да дальняя дорога так и тянут взглянуть еще. Повернулся опять, смотрю, не паляжусь... Вагон слегка покачивается, подскакивает на стыках рельс, а нога к себе так и манит... Захотелось дотронуться... Какая прелесть в этом ощущении, особенно в условиях запрета; какое наслаждение! Кожа на внутренней стороне, немного выше колена, шелковая, нежная, жар ее так и пышет... Отнял руку, но вижу вдруг, нога сама приближается к моему дивану; может быть во сне, невольно... Полоса тела стала больше от этого движения, — отчетливо видна форма верхней части ноги. Моя рука, уже помимо моей воли, опять там же, и я чувствую по коже нервную дрожь, а

нога — ко мне еще ближе... Сомнения нет: не спит, притворяется, но что же дальше? Забыл я о муже наверху, забыл о всем, осмелел, думал уже фонарь прикрыть, как вдруг громкий женский голос:

— Перестаньте вы, наконец, безобразничать?

Я ахнул, ни жив, ни мертв, закрылся одеялом.

— Что такое, Сонечка, что с тобой? — голос с верхней кушетки.

— Этот нахал ко мне всю ночь пристает... Ничего, Федя, он теперь успокоится!

Но не успокоился Федя-сибиряк: — Ах, негодяй, я тебе покажу! — и в тот же момент огонь, «бух» и сильный запах пороха: он в меня в упор из револьвера!

— С ума ты сошел, Федька! — бросилась на него дама, как кошка соскочив с дивана и вырывая из рук мужа револьвер, — ты с ума сошел!

— Вы сумасшедший, — кричу и я. — уберите гон из моего купэ!

— А вы зачем ко мне всю ночь приставали? — красивая молодая женщина в упор на меня смотрит, тон голоса гневный, а глаза смеются.

— Вы во сне это видели и едете с сумасшедшим. Постарайтесь оставить мое купэ!

Федя слез с верхнего дивана. Большой, грузный человек; она — молоденькая, красивая блондинка. Оба сообразились, забрали вещи, покинули купэ.

Запер я дверь на задвижку и вижу — в стенке над мной дырочка от пули, как раз в сторону купэ моего генерала. «Убит», думаю, «что делать?» — В соседнем купэ ничего не слышно: «Неужели напал? Если Федя держал руку около дивана», соображаю, «пуля могла пройти и выше генерала, но если держал высоко и стрелял вниз, пуля должна угодить прямо ему в живот. Пойти посмотреть?.. Под каким предлогом?»

Зову проводника. Растолковал ему, — он сам слышал выстрел, — что Федя нечаянно выстрелил. Не попал ли в генерала? Показываю на дырку. Проводник спокоен: «Кричал бы, если бы ранило, или ругался бы. Не кричит, стало быть — промах или убит. Что же — посреди степи останавливать поезд? До Иркутска доедем, там протокол и составим. А жалко! Очень генерал хороший, давно его знаю... Что-же, значит — судьба!»

До Иркутска оставалось около часа. Провел его я неважно; бранил себя, а больше женщин; признаюсь, и до сих пор ее поведения не могу понять. Что она не спала, — сама в этом призналась. Значит, сама же ногу подставляла, целую комедию разыграла. Зачем же закричала потом? Понять женщину трудно, да всегда ли понимают себя и они сами?

В Иркутске, куда прибыли мы около пяти часов утра, проводник разбудил генерала, который оказался жив и невредим; под предлогом, что его просят к телеграфу на станции, вывели его из купе... Пуля пробила тонкую деревянную перегородку, пролетела над генералом, ударила в другую стенку и там, под диваном, ушла в пол. Заделали мы стеарином обе дырки, решили генералу не говорить. Он скоро вернулся, поворчал, что какой-то дурак на станции перепутал, и вновь улегся спать. До конца жизни он, вероятно, и не подозревал, что в этот день смерть пролетела над ним в нескольких сантиметрах, — по моей вине, а может быть, по вине этой дамы?

Так-то встретили меня свободные жители вольнолюбивой Сибири! А на руку, действительно, легки и долго не раздумывают: «бух» и готово, а после разберут. В России и револьвера-то ни у кого почти не было. «Хорошо ли», — думаю, — «я сделал, что на три года в

эту скерую на расправу и решительную Сибирь закончился?»

XI

В Сретенск поезд приходит рано утром. Вышел я на станции: куда идти? В контору постройки с приказом о моей переправке? Слишком рано. На станции и буфета нет; городок ничтожный: три-четыре тысячи жителей, не считая каторжан. Пассажиров, конечно, почти никого, — из моего вагона вышел и один да какая-то старушонка из вагона третьего класса.

Отдал я вещи носильщику на хранение.

— Часа через два, — говорю ему, — еду дальше на лошадях. Где бы чаю напиться, да поесть на дорожку?

— Вот, на площади, Гранд-Огень стоит; туда и идите, — а сам глаз с моего гвардейского костюма не спускает: перед Сретенском я оделся в свой полярный наряд.

— Что, брат, хороша одежда? — не удержался я. — у вас здесь есть такая?

— Где нам, у нас — сибирская, — и показывает мне свои валенки размером с лодку.

Перешел я через площадь. Церковь стоит на ней, затем, вероятно, тюрьма, два-три каменных здания, остальные деревянные; одни обшиты спарухи тесом, другие — просто из круглых бревен огромного диаметра и длины. Окна маленькие у всех домов, люди холода боятся. Мороз, действительно, резкий, пронизывающий. Трубы дымятся всюду. Около Гранд-Огня несколько подвод с саними. Лошади привязаны к стойкам, жуют овес в торбах, лошади маленькие, круглые, крепкие, с длинной шерстью, — зимой и скотине шуба пужна. Трое саней пусты; в четвертых, на задке розвальней, сидит

закутанная фигура, ружье на коленях держит, а на облучке, впереди, двое. «Удивительная страна», думаю, «один едет, двое правят».

Через двойные двери, обитые войлоком, попадаю в большой зал, точь в точь такого характера, как в фильмах из жизни американских золотискателей. Прямо передо мной оуфет, или стойка, направо — небольшая сцена с музыкальными инструментами на ней и механическое пианино. Посредине зала столики и деревянная лестница вверх, на хоры, куда выходят двери комнат для приезжающих. Две круглые железные печки до потолка: у одной, на полу, две в тулуках сидят рядом, неподвижно, шапки сняли, головы бритые. За столиком скою них кто-то в шубе и шапке пьет чай, а под левой рукой у него ружье со штыком. Половой вытирает грязной тряпкой столы и стулья. Заказал я ему чай и что-нибудь поесть.

— Можно ветчины холодной, апельменов до полдня подождать придется.

Взял ветчины, а сам смотрю на всю эту обстановку, особенно страшную после богатого сибирского экспресса, и на двоих с бритыми головами и неподвижными лицами у печки. Третий, что пил чай, поднялся, взял ружье на руку, что-то сказал илискомандовал. Двое других встали как-то разом, надели шапки и пошли; цепи звякнули, засгучали (они вылезали из голенищ валенок); руки тоже скваны, правая рука одного прикована к левой другого: потому-то они так дружно сидели и встали. «Два кучера-то в саних тоже каторжники», — понял я тогда; впечатление жуткое, особенно лязг цепей и страшное, безучастное выражение лиц этих несчастных (о них расскажу вам в другой раз).

Половой поменял, что подводы эти доставили с рудников ослабевших каторжан в Сретенск, но на мои рас-

спросы про каторжан вообще — не отвечал или уклонялся. «Спросите лучше, много ли здесь свободных!» — усмехнулся он и ушел за стойку мыть тарелки. Просидел я так часа полтора; время было идти в контору, а там поскорее — в возок и в дальнюю дорогу, на новую жизнь!

Мне и в голову не приходило, что отъезд мой неожиданно отложится, что в отеле этом суждено мне задержаться и познакомиться ближе и с половым, и с музыкантами (все они оказались бывшими каторжниками, теперь ссыльно-поселенцами, отбывшими наказание, обычно за убийства), и с певицами отеля, хотя и свободными, но хуже каторжан и по характеру, и по привычкам.

В конторе Амурской дороги меня провели к заведующему, Горлову. Толстый пожилой человек, лысый, с седыми усами: правый — весь седой, левый — желтый посредине от вечной сигары, седой в конце — от возраста. Сигару свою, огромную, немецкую, с красным ободком, он выпускал изо рта, только когда ел. Курил он странно: дыму шло мало, сигара же убывала быстро и с обоих концов сразу: один конец ее он выкуривал, другой жевал; когда доходил до ободка, то выплевывал остаток и закуривал другую. Получал он сигары из Владивостока, куда в то время был беспоплатный ввоз; откуда же они попадали к нему ящиками, вероятно — контрабандой.

Даю ему письмо, прошу отправить меня поскорее.

— Когда желаете выехать?

— Хоть сейчас. Делать здесь мне нечего.

— Можно и сейчас. У вас возок есть?

— Разве на станциях не дают его с лошадьми?

— Дают; только тогда вам придется на каждой станции менять возок, перекладывать вещи; да и сидеть на

соломе неудобно, а в свой — сена положите и вещи на-
мертво прихватите. Да вы молодой — выдержите и так...
Спутника имеете?

— Нет, я один. А зачем?

— Расходы разделить; одному — больно накладно!
Оно и веселей, — будет с кем поговорить за восемь или
девять дней и ночей.

— Нет, я никого не знаю.

— Это мы вам устроим. Одна дама тут давно спут-
ника поджидает, одна ехать боится; ей тоже до Благо-
вещенска. вместе и поедете.

— С дамой? Ни за что (ночь в экскрессе я еще не
вабыл).

— Как хотите. А с одеждой у вас как?

— У меня есть. Видите, хоть на северный полюс!

Горлов потрогал рукой мех моей шубы, красивые ва-
ленки и усмехнулся половиной рта:

— На полюс вы так поехать, может быть, и може-
те, — я там не был, — а на Шилку не советую: одной
станции не сделаете, замерзнете!

Он мне объяснил, как надо быть одетым, что надо
купить из еды, и вдруг спрашивает: — Ваша фамилия...
как?.. Не для вас ли у меня срочная депеша; дня три на-
зад пришла. Эй, Семен, дай-ка сюда «срочные»!

Приносит пачку телеграмм; Горлов порылся в ней,
подает одну мне. «Кто», думаю, «может мне в Сретенск
телеграфировать?» Вскрыл — глазам не верю, пере-
читал и обрадовался: телеграфировал начальник работ
из Благовещенска, приказывая задержаться в Сретен-
ске, уладить конфликт с плотниками. Просил держать
его телеграфию в курсе, так как дело важное, — кон-
фликт дошел уже до сведения наместника и министр-
ства. Богиня Фортуна была здесь, не пропустить бы мо-

мента, схватить бы ее, как следует! Я сразу окрылся, собственный вес почувствовал.

— Нет, говорю, мой отъезд откладывается. Начальник работ поручает мне предварительно уладить недо-
разумение с рабочими. Расскажите, в чем дело?

— Вам тоже? — Горлов пробегает денешу, жует и курит сигару, лысую голову рукой разглаживает, будто приводит мысли в порядок. — Что будете делать?

— Как что! Отъезд откладываю, улажу сначала дело с рабочими. Не могу же я не исполнить приказа генерала!

— Молоды вы, дорогой, в эти дела путаться! Такие денешки он уже двум инженерам, которые здесь проезжали раньше вас, прислал. — нежилым, опытным. Те посмотрели, чем пахнет, — марш в Благовещенск! Все уже брались за это дело, ничего не вышло. Наместник от себя большого чина прислал; того чуть самого не убили; ни с чем и уехал. Народ здесь каторжный, и сила на его стороне.

Поблагодарил за совет, но просил рассказать мне все подробно. Решение мое было готово: не уезжать, не устроив дела. Большие люди на нем зубы обломали; сам наместник заинтересован, я должен исполнить поручение во что бы то ни стало! По объяснениям Горлова, картина была ясна: положение рисовалось скандальным, критическим, постройка этой важнейшей военной линии могла и впрямь задержаться на год. За зиму надо было заготовить материалы для летних работ и лес для временных сооружений. С этой целью на зимний сезон нанято было в России около трех тысяч плотников; маршрутными поездами их доставили в Сретенск, но лишь к концу навигации. Прибыв, они вдруг наотрез отказались ехать дальше, потребовали, чтобы везли их

обратно в Россию. «Холода да нашей каторжной обстановки испугались», пошел мне Герлов.

Начались утешения, уговоры, а навигация закрылась, приходилось ждать санного пути. Мысль о путешествии зимой, за тысячу с лишним верст, совсем вывела из терпения рабочих, они грозили разнести Сретенск, если их немедленно не повезут домой. Около тысячи подвод было закуплено в Забайкалье для их переправки, но мужики-черти уперлись, ехать дальше не хотели. Безобразий пока не было, но никого к себе в лагерь они не пускали, требовали вагонов. Полетели телеграммы к министрам в Петербург, к наместнику. Тот категорически запретил применять военные меры, да и войск не было; такие же указания даны и полиции. Сам Герлов давно уже потерял надежду на успокоение и Христом Богом просил вагонов, чтобы сплавить эту орду из Сретенска, даже если зимний рабочий сезон и пропадет. Местная полиция была того же мнения: а тут еще каторжники прислуниваются: того гляди, плотники стоббют их, освободят. Что тогда?

— Чем же они недовольны? Пища плохая? Заработки недостаточны?

— Всем недовольны. Да и кто их, чертей, разберет? Толком ничего не говорят, одно лишь — «вагоны подавай, а то все разнесем, мы не каторжные!» Правду сказать, хорошего в наших местах мало: морозы начнутся в сорок, в пятьдесят градусов, всюду каторжники, црни лязгают, ружья вот-вот заговорят... Как посмотрелся — так и домой! Думают, наверное: «дальше поедешь, еще хуже будет, тайга па тысячу верст кругом, уйти некуда». Раньше я землеконов переправлял, так тех — с вагона на пароход, и пошел! Осмотреться некогда. А эти черти на беду в пути задержались. Такая неудача!

Сигару докурил, доел, другую закуривает, желчный,

озлобленный, — вся эта история так ему надоела: пусть бы плотники и вся постройка провалились в тартарары, лишь бы его оставили в покое.

А я слушал и яснее видел, что случай схватить фортуна — здесь, под рукой. Подумайте: Петербург знает, что постройке угрожает потеря года; сам наместник беспокоится. И это у меня в руках, у меня, еще час тому назад никому неизвестного инженера, которого никто и на службу не брал!

А сейчас? Телеграмма здесь, поручение, даже приказ, — раздумывать нечего! Родился и вырос я в деревне, мужика знал, умел с ним говорить; на постройке Астраханской дороги имел их сотни, чуть не тысячу. Правда, раз чуть было не убили, но тогда причины были политические. Как же мне да не устроить это дело?

Строчу денешу: «Прибыл, телеграмму получил, принял приказ к исполнению».

— Отчаянный же вы, — говорит Горлов, прочтя ее, — не сносить вам головы.

— Потом видно будет, а теперь давайте действовать.

— Нет, батенька, действуйте сами! У меня жена и дети, а у этих чертей — топеры за пазухой да ножи в голенище.

XII

Должен вам пояснить, что при стпуске кредита на постройку Амурской железной дороги министерство финансов потребовало, чтобы китайской и вообще иностранной рабочей силы и материалов не было: не хотели выпускать русских денег за-границу, боялись уронить курс рубля, с таким трудом восстановленный после русско-японской войны и социальных беспорядков. Так как Сибирь была населена слабо и много рабочих дать

не могла, прибегли к найму их в России. По всем губерниям законтрактовывали тысячи, десяткй тысяч землекопов, плотников, каменщиков, столяров и маршрутными поездами отправляли на Амур. Дорога длинная, долгая, — около сорока дней в одну сторону, столько же обратно после работ. Рабочий сезон на Амуре короткий; удорожание стоимости работ поэтому — чуть не в пятьдесят процентов из-за одной потери рабочего времени на проезд, но цель достигалась: рубли оставались в России. Поезда составлялись по специальностям: поезда каменщиков, плотников, землекопов, по артелям, по губерниям. Управление дороги старалось поставить рабочих в условия жизни, им привычные, знакомые. Везли из России малороссийское сало для хохлов, подсолнечное масло, гречневую крупу — для русских; поляков-землекопов снабжали польскими деревянными лопатами с железным лезвием...

И вот оказалось, что большая партия плотников, напята на зимние работы, застряла в Сретенске, ехать дальше не хочет, — и дело это в моих руках!

План мой был готов: пойти к рабочим, поговорить, узнать, в чем невязка, пошутить в подходящий момент, — п дело в шляпе... Но вышло далеко не так. Итти к ним в лагерь Горлов отсоветовал: не примут или, того хуже, камнем какой-нибудь озорник запустит... Решил я тогда вызвать делегатов в контору. Семен, рассыльный, согласился сходить в лагерь: его они к себе пускали: работал, очевидно, на оба фронта, всюду был хорош.

Парламентер наш вернулся через час и сообщил, что после долгой ругани плотники постановили прислать выборных, чтобы сговориться об отправке домой. Придут в час... Ждать было долго; пошел я устраиваться пока в этом отеле клондайкского типа с громким именем: бедно в нем и грязновато, но другого не было.

Без четверти час. сижу в конторе, жду; через полчаса появилась делегация, валом вкатывается человек двадцать: шапок не снимают, даже «здравствуй» не говорят. Лица зверские, брови нахмуренные, глаза сверкают.

Не успел я рта открыть, как рев со всех сторон:

— Вагоны подавай! Когда вагоны?

— Постойте, братцы. Что вы о вагонах кричите, давайте поговорим.

— Нечего нам разговаривать! Когда вагоны будут? Слышишь? Довольно мы тут сиделись! — орет какой-то молодой парень впереди.

— Отправляй, если вагоны имеешь, а не имеешь — проваливай! — старается перекричать другой: — Завезли, сволочи, обманули, а теперь отлынивают! Вагоны давай, а то — по харе!

Стою ошеломленный, слова сказать не могу, а они — чуть не с кулаками на меня, и каждый старается перекричать другого, выругаться погаже, побольней.

— Постойте, братцы...

— Мы тебе не братцы, туда твою мать!

— Погодите ругаться...

— Чего годить? Вагоны давай, такой растакой, а я дашь — разнесем! Слышишь!

— Стойте, земляки! — раздался вдруг низкий бас плотника постарше. И обращается ко мне: — Право на вагоны имеешь или нет? А? Имеешь — давай сейчас, ждать больше не будем. Не имеешь — не лезь, головы не сломать, шапки надеть будет не на что!

— Вагоны, давай вагоны! — сруг другие: — Имеешь право или нет?.. Ребята, права на вагоны у него нет, нечего тут и лезть точить, ай-да до дему! — все, как один, повернулись и с руганью начали выходить: — Завезли, туда их мать, а увозить — вагонов нет! Мы те-

бе не землекопы, мы плотники! По морде бы его топором, да топора пачкать жалко!

Последний выборный уже покинул комнату, а она была еще наполнена запахом, и брань ужасающая, матерная орань, казалась, висела в воздухе, звенела в ушах.

— Правду я вам говорил? — Горлов с сигарой выкатился из соседней комнаты: — Народ раскален, не шутите! Наместник приказал убрать полицию, чтобы их, чертей, не раздражать, а того не понимает, что нас тут всех живыми сожрут эти людоеды.

Он ворчал, а я не знал, что и думать... Провал был полный, надежда уладить конфликт разлетелась в прах. Я хотел поговорить, рассмешить, а мне слова не дали сказать, разругали, чуть не побили... Не так-то просто иметь дело с массой, да еще со сплоченной! Но почему это нежелание ехать? Сами же просились, нанялись? Откуда такое озлобление? И что значит эта фраза: «Мы тебе не землекопы, мы плотники?» Спрашиваю Горлова.

— Землекопы проехали летом без всякой истерии, — ответил тот. — Условия? Такие же, только плотникам дорожке платим.

Дело, значит, не в деньгах... Так в чем же?

Пошел я бредить, прсветриться. Пройти весь город — пять минут, да и смотреть в нем нечего. Скалы по обшим берегам, внизу река Шилка. По виду замерзшего льда, река могучая, быстрая. Лдины изломаны, спалились, как непадало: одна — стоя, другая — боком, какие — друг на друга. По льду проложена санная дорога, по которой и я должен был бы уже ехать. Идет она по извилистым рекам, по вьется и сама, обходя нагроможденные ледяные глыбы; кое-где во льду устроены выемки. Дорога по реке хорошая, легкая, ни гор, ни подъемов.

С берега Шилки поднялся я на холм, покрытый глуп-

боким снегом. Отсюда виден был весь город и лагерь наших рабочих — теперь моих врагов.

Чуть не сотня барачников раскинулась по обе стороны дороги; трубы дымят, но жизни в лагере не видно; бродят лишь редкие фигуры, в чем-то копошатся; остальные рабочие лежат, видно, на нарах, как медведи зимой на берлогах. «Ошибку я сделал», думалось мне, «не надо было слушаться Горлова; надо было самому к ним идти. Ругаться бы кончили, — можно было бы и поговорить; я бы перенес брань, не ушел. А то что-ж, огружали, не дали мне слова сказать и исчезли. Но потерянного не вернешь, идти теперь невозможно!» И в чем причина? Кому было нужно сорвать постройку Амурской дороги? Только Китаю да Японии. Для Китая она не составляла угрозы, но Китай мог обидеться на запрещение принимать китайских рабочих (требование все-сильного тогда в России министра финансов). Япония, понятно, ведела, что постройка имеет стратегическое значение; линия эта должна была связать Владивосток с Россией на случай потери нами манчжурской линии. Без дороги и без флота не только Владивосток, вся Приморская область остались бы беспомощны. Но Япония, судя по газетам, ничего не имела против постройки этой линии, скорее поощряла ее... «Да так ли это? Не двойная ли здесь игра? Хорошо ли осведомлена наша дипломатия?» Конфликт представлялся мне куда как сложнее и моя роль в нем еще важнее. Раздумывая, я стал замерзать; Горлов был прав: мой полярный костюм не выдерживал мороза Сретенска, в особенности красивые фетровые валенки, — пришлось скорее возвращаться домой.

— «Найти бы», думаю, «языка из вражеского лагеря! От него узнать. Но как его достанешь? Слишком много времени упущено. Рабочие озлобились, никого к

себе больше не пустят. Будь то не плотники, не простые мужики, можно было бы подослать невичку или кого другого, а с такими «чертями», как называл их Горлов, и этим не возьмешь».

XIII

Вечером ко мне в отель завернул Горлов. Хитрая лиса, видел денешу начальника и понимал, что лучше считаться со мной, хоть и молодой — сам генерал дает важное поручение! Засели мы в ресторане, Горлов всех знает, рассказывает о каждом. От него то и я узнал, что вольных людей, как он, например, в городе почти нет, кроме чинов администрации; все же прочие — ссыльно-поселенцы, отбывшие каторгу, кто за убийство, кто за грабеж, а кто и за вольные идеи.

— Кто же по своей воле здесь жить будет? — добавил он: — Дел мало, торговля только и держится постройкой дороги.

— А золото, пушнина, лес?

— Золото?.. Это — под полой, это не торговля. Лес? Мы только и берем, других покупателей нет. Пушнина? Есть, но в крепких руках, вся уходит в Москву и в Нижний.

— Чем же промышляют? Откуда деньги у всех? Смотрите, как все дорого.

— Водкой китайской, джэнь-шенем да контрабандой: ну, понятно, есть и золото, саморядков у всех полные карманы.

Оказалось, что местные люди, даже русские, любят китайский спирт — ханжин. Он дешев, крепок, экономен. Попадая в желудок, часть его уснаивается, другая же часть превращается в кристаллы, не растворяющиеся в желудочном соку. На следующий после пьянства

день выпьет человек чистой воды, кристаллы растворятся — опять пьян. И так дни три! Понятно, спирт этот доставлялся только контрабандой, но обороты делались большие по всей пограничной полосе, а она протяжением чуть не пять тысяч километров, — охрана ее почти невозможна.

Корень джень-шень — вещь любопытная. Это дикое растение из класса мацдрагор, что ли, растет в местах, где, говорят, нога человеческая не ступала. Таких мест в Китае почти больше нет, — остались лишь в Сибири; туда-то вои и идут охотники за этим корнем, кичайцы и манчжуры. Кто корень найдет и благополучно доставит до Китая, тот обеспечен на всю жизнь: джень-шень стоит чуть не в сто раз дороже золота. Понятно, что за искателями джень-шени следят охотники, и очень часто добыча переходит из рук в руки, почти всегда с убийством, пока дойдет до потребителя.

Джень-шенем пользуются пожилые китайцы, чтобы продлить... не жизнь, а функционирование известных желез, дать иллюзию молодости, силы. Китайцы --- исключительно труженики, работают всю жизнь, в году у них лишь один праздничный день; но если китайцу удастся к преклонному возрасту скопить денег, почувствовать обеспеченность, то с такой же яростью, как раньше работал, начинает он предаваться удовольствиям жизни: еде, поэзии, разврату. Для последнего-то джень-шень и необходим. Да и не для одних китайцев. Мне пришлось познакомиться позже, во Владивостоке, с известным русским коммерсантом Сядельским, очень богатым человеком. Он показывал мне банку с настоящей из джень-шени. Корень странный: действительно похож немного на тело ребенка без головы. Силу имеет, будте-бы, поразительную, — хотя нельзя прерывать лечения, — поэтому-то за ним так и охотятся.

Сидельскому тогда было 76 лет; по виду и, рассказывали, по деятельности ему можно было дать лет сорок, успех же у дам имел он большой; благотаря джень-шеню или деньгам, этого я сказать не сумею.

Лес в Сретенске плохой, ель да сосна, идет лишь для местных пужд. Южнее, за Благовенденском, на Бурее есть замечательное бархатное дерево. Мне пришлось с ним встретиться в Зейско-Бурейской равнине. Отправка его в Россию — невозможна: слишком далеко везти по железной дороге (Россия покупала для мебели красное дерево из заграницы), в Сибири же мебельного производства почти не было — бархатное дерево шло на топливо. Въ Японии из него делаются все тонкие деревянные изделия и его очень ценят за легкость работы и прекрасный бархатистый оттенок после полировки.

В ресторане, где мы сидели с Горловым, музыка играла, как умела, певички старались петь, какие-то люди ели, пили. Оружия не видно было ни на ком: это не Аляска, не картина из кинематографа, но по тину и по лицам было видно, что в тайге с ними лучше не встречайся, а здесь — не задевай! Сибирский решительный Федя мне вновь припомнился.

Я слушал объяснения Горлова, смотрел кругом, а думал об Японии: изложил, наконец, ему мои подозрения.

— Япония тут ни при чем, — размышлял Горлов: — Зачем им сюда идти, раз они холода боятся? На юг пойдут! Агентов?.. Тоже нет: мы здесь всех знаем. Китайцы?.. Те ни на что серьезное не способны, да и народ они хороший, работающий. Обидели их, на работы не допускают, но мстить они не будут. Политики тут нет, просто мужики заупрямились. Прогнать бы нашу рвань домой в Россию, да и взять китайцев. И стоило бы дешево, и никаких хлопот.

Горлов, посидев еще, ушел; отправился спать и я, под звуки пианино и пьяных голосов.

XIV

Утром рано бродил я по городу, рассматривая магазины. Их всего несколько, два больших — универсальных: один немецкий, фирмы Кунст и Альбертс из Гамбурга, другой — его конкурент, русский, Чурин. Стою около второго, выставка на окне большая, все вещи нужные для севера и для дороги: одежда теплая, еда, оружие. Кто-то подошел, остановился, тоже рассматривает. Я оглянулся, вижу тулуп, шапка почти все лицо закрывает, только нос да борода наруже, но глаза в мою сторону смотрят и, мне показалось, улыбаются. Знакомый? Но кто? Припомнил вдруг одного из приходивших ко мне делегатов, степного мужика, который не кричал, не ругался. Стоит, то на меня, то на грудь неальменей поглядывает, интересуется: а может — только делает вид.

— На пельмени, земляк, смотришь? — спрашиваю. — нравятся?

— Штука занятная, расставлены здорово, — в окне были сложены два столба из пельменей, на столбах гирлянда из них же, вроде триумфальной арки.

— Любишь сибирские-то?

— Не приходилось есть, а должно хороши.

— Угощу, гостем будешь!

— А где? — оглядывается кругом, остерегается, но никого нет: рано, да и вообще прохожих в Орегепске — один, два и обчелся.

— У меня! Вон там, — и показываю на отель.

— Что же, можно, покорнейше благодарим! Только не в ресторане.

— Наверху, в комнате: посидеть спокойно, побалачить, — стараюсь перейти на народный язык.

— Побалачить? Вы откуда будете, не из Полесья?

— Да, я Брянский.

— То-то и оно-то. А мы из Юхнова, значит и вправду земляки.

В гостинице поднялись ко мне; мужик сел, шапку скинул, а тупула не снимает, отказывается. «Подожди», думаю, «снимешь потом», а сам командую паловому, каторжнику: — Пельменей большую порцию, графин водки и полбутылки коньяку!

— Пельменей горячих нет.

— Разогреть, да враз, на керосинке! — и ему рубль в руку. — Через пять минут чтобы все было наверху. Да побольше перцу и уксуса.

Иду опять наверх, боюсь, как бы не ушел карась-то мой. Нет, сидит степенно, бороду разглаживает.

— Значит, вы из брянских будете? А сюда зачем пожаловали?

Смотрю на него: смеется он, что ли? По моему же дурацкому костюму, единственному в Сретенске, он, понятно, узнал меня сразу... Но ни одна черта его лица не дрогнет, лишь в глазах — хитрость или улыбка.

— Сюда? Еду на постройку Амурской.

— На постройку? Это хорошо.

— А ты, земляк, зачем попал? За лесом или за пушвиной? — хитрить, так хитрить.

— Мы-то? Так, проездом!.. Посмотреть хотелось, да толку мало!

— Теперь и в Юхнове не слаще; работы нет, цены плохие.

— Понятно, времена тяжелые... А раньше где были?

— На постройке Астраханской. Ес-то знаешь?

— Как не знать! На большой Балде деревянные кесоны ставили.

— У Цишевского? Он мой знакомый.

— У него самого!

Разговорились, но карт он не открывает. Оказалось, что работал чуть не по всей России, с мальчишек, с десяти лет. И в Туркестане был, и на Закавказской плотничал, Сибирскую дорогу, Забайкальскую знал отлично.

Подали пельмени, пар так и валит из под крышки, тут и водка, и коньяк Шустова.

— Что же, будем здоровы! — земляк отправляет в рот первую рюмку водки, закусывает пельменями, запивает коньяком.

Слежу за ним, мою рюмку пригубливаю... Молчим; он ест медленно, степенно, но рюмки опрокидывает и не сбивается — то водку, то коньяк. Распарился, тулуп снимает... «Теперь», думаю, «не уйдешь!..»

— Один или с товарищами здесь, земляк?

Помалкивает, ест, потом через минуту:

— С товарищами. Куда же одному, в такую даль!

Молчу и я, но еле сдерживаюсь.

— Значит, не подходит? Холод большой или харчи плохие? Может, заработки малы?.. — и все медленно, безучастно, лишь бы, разговор поддержать, приличие соблюсти.

— Жаловаться нельзя, а так, не нравится, — и пьет коньяк.

— В России, гляди, не лучше. Налоги большие, заработков нет.

— Оно понятно; да дома все же слаще.

Графин, вижу, скоро будет пуст, надо спешить. Сда-
сы!

— Скажи, дядя, а что значит: «Мы тебе не землекопы, мы плотники!» — и смотрю в упор, какое впечатление произведет на него уже прямой вопрос. А тот спокойно ест, пьет, как будто моего вопроса и не расслышал; потом положил ложку, степенно вытер бороду, усы.

— Хочешь знать? Что же, пожалуй, тебе можно и сказать. Землекопы, вишь, прошли через осмотр, а наши не хотят, не нравится.

— Какой осмотр? когда? где?

— Через санитарный, перед отправкой из Сретенска. Без санитарного ярлыка ехать нельзя, а без осмотра его не дают. Наши и решили всем обществом — не ехать.

Разговор пошел быстрей.

— Что же в этом осмотре? Пустая формальность, если кто здоров.

— Оно понятно. Которые постарше, тем наплевать; пусть смотрит. А какие помоложе, те на дыбы: сглазит, говорят, ведьма, что тогда жене или невесте скажешь?

— Какая ведьма? Кто сглазит?

— Ну, дохтурша, стерва-то эта, которая щупает да тискает за места, где не надо.

— Пстой, пстой! Расскажи, дядя, толком.

— Мне-то что! — смеялся земляк, повеселев и размякнув от водки и пельменей с перцем: — Мне наплевать, я на третьей женат, меня не сглазишь; пусть тискает, коль ей охота. А молодым?.. К молодой — да ни с чем! Инструмент испорчен! Вот тебе и заработок!

Держу его, чтобы не ушел, расспрашиваю; картина выяснилась быстро. Он еще раз подтвердил, дал более подробные детали. Я не успел, схватил шубу, шапку.

— Сиди, дорогой, ешь, пей, тебе все дадут. А меня извини, мне надо бежать! Спасибо, дядя, — жму ему руку, чуть не обнимаю его.

— Беги, беги, да шею не сломай! — шутил он мне вслед уже отечески и какие-то еще наставления давал, но я не слышал, — летел к Горлову. Через две минуты — у него.

— Скажите, кто производит у вас медицинский осмотр и какие требования предъявляются? Ведь рабочие были осмотрены нашими врачами перед отъездом из России?

Горлов объяснил мне, что, помимо осмотра медицинским персоналом дороги, наместник, заботясь о состоянии здоровья области и боясь заноса из России туберкулеза и сифилиса, почти неизвестных в Амурской области, установил строгие правила санитарного контроля. Каждый рабочий, перед отправкой из Сретенска, должен пройти через новый осмотр и без свидетельства санитарного надзора области никто отправлен быть не может. Для этого осмотра и приехала особая врачебная комиссия, во главе со старшим областным доктором.

— Но там есть и какая-то женщина-врач?

— Она и есть старший доктор этой комиссии. Молодая, энергичная, врач замечательный: сама проверяет каждого и самым серьезным образом: все видит, ничего не упустит.

— Нельзя ли обійтись без нее? Погнать ее вон?

— Что вы, батенька! У нее отец — генерал; сам наместник ее знает, очень ценит. Она два университета окончила, профессором, гляди, будет, а вы ее — вон, нашу сибирскую знаменитость? Перед ней все шапки снимают.

— Где ее можно видеть, эту знаменитость?

Оказалось, на той же площади, напротив, на берегу Шилки. Я — туда.

В санитарном областном управлении пахло иодом, карболой, чем-то еще. Хорошо натоплено, чисто, кто-то сидит, строчит.

— Хочу, — заявляю, — видеть старшего врача.

— По какому делу?

— По служебному, имею поручение и полномочие от начальника работ Амурской дороги.

Докладывают, проводят в кабинет старшего врача. За столом — барышня или дама, молодая, миловидная, жгучая брюнетка с пронизывающими черными глазами. Одета в теплый костюм строгого, мужского покроя, серьезная, занятая. Отрекомендовался.

— Чем могу быть полезна?

— Вот чем! Большая партия наших рабочих в Сре-тенске отказывается ехать на работу...

— Слышала.

— Начальник работ поручил мне уладить это дело. У меня же есть сведения, что рабочие недовольны санитарным осмотром. Прошу вас мне разъяснить, кем производится осмотр, каким образом и какие требования предъявляются?

— Осмотр производится комиссией областных врачей по правилам санитарной инспекции. Они напечатаны, вы можете с ними ознакомиться у вас же в управлении дороги. Чем еще могу быть полезна?

— Видите ли, мадам пли мадемуазель...

— Я старший врач, так прошу меня и называть!

— Хорошо, госпожа старший врач, но я хотел бы знать то, что не напечатано: как именно производится осмотр и кем? Рабочие — люди простые, у них есть свои предрассудки; многим не нравится... — она не дала мне договорить:

— Мы не обязаны делать лишь то, что им нравится. Все должны пройти через осмотр, иначе свидетельства не получают.

— Но из-за этого постройка может задержаться на год!

— Дела постройки меня не касаются. Я — старший областной врач; мне поручена охрана здоровья населения, я его и буду охранять. Ничто другое меня не интересует, — она была решительна, резка.

— Нельзя ли смягчить ваши требования хотя бы для этой партии? Ограничиться, скажем, поверхностным осмотром; зачем же штаны с них снимать?

— Вы не имеете права вмешиваться в обязанности врачебного отдела. Впрочем, я думаю, вопрос исчерпан, говорить нам больше не о чем. — встала, дает понять, что я должен уходить: До свидания, мое время очень занято.

— Извините, далеко не исчерпан, — стою против нее, по другую сторону стола: — Нам нужно, чтобы рабочие немедленно ехали на постройку. Желаете вы сделать облегчение для этой партии?

— Никаких облегчений сделано не будет. До свидания!

— Нет, подождите! Можете ли вы хоть с этой партии штанов не снимать? Вы понимаете?

— Я не считаю себя обязанной отвечать на ваши гнусности. Постарайтесь оставить мой кабинет.

— А я прошу вас оставить в покое наших рабочих. Под предлогом ваших медицинских обязанностей с ними не играть! Появляй?

— Убирайтесь вы, нахал! — стучит кулаком по столу, топает ногами: — Нахал!

— Нет, не уйду! Не щупай рабочих! Давно пора бы замуж выйти, — своего бы щупала, перетерпелка!

— Вон отсюда! Эй, фельдшер, выбросить этого нахала! — кричит она вне себя, побелев от злости; как фурия, бросается на меня, — нас разделял стол.

— Негодяй! Подлец!

— Психопатка, гадина!

За шаг до меня она вдруг — в истерику. Бьется, катается по полу. В кабинет вбежали.

— Что такое?.. что случилось?

Глаза «старшего врача» закрыты, волосы рассыпались, скулы сжаты, сама бледная, как снег, вся милость пропала, пена изо рта. Не удержался я, чего греха таить, концом валенка раза два толкнул ее пониже спины: — «В истерике», говорю, «ваша гадина, эротоманка. Ничего больше!» — и вышел из отдела.

У Горлова написал телеграмму, прошу отправить сейчас же по прямому проводу.

— Мы не имеем права. Мы можем отправлять только срочные, — отвечает тот, но я еще не охладел.

— Без права! Вы должны всех здесь знать. Устройте, как хотите, но я этого требую, поняли?

В денеше я сообщал, что если санитарный осмотр будет отменен для плотников, конфликт уладится; в противном случае неизбежна катастрофа и человеческие жертвы. Требовал немедленного ответа... Горлов скоро вернулся: телеграмма была принята, через полчаса будет вручена начальнику работ в Благовещенске.

Стал я ждать ответа. До вечера — ничего. Ждал всю ночь, не дождался. Утром — телеграмма: по распоряжению заместителя, мне предоставлялось право, в виде исключения, произвести самому осмотр партии плотников и выдать свидетельства за моей личной ответственностью. Все взвалили на меня; никто не захотел взять на себя риска. Но мне было безразлично, важен был успех.

— Посылайте Семена, — команду я Горлову, — зовите делегацию. Скажите им: есть новости.

Ждем. Горлов ничего не спрашивает, обижен! Я молчу.

— Сейчас придут, — возвращается наш парламентар.

— Беги, Семен, в санитарный! Потребуй бланков свидетельств побольше да печать: и пусть подписнут бланки. Скажи, по распоряжению наместника. Они, наверное, уже извещены.

Он вернулся с пакетом небольших ярлычков без подписи.

— Печати не дают: на печать нет распоряжения.

— И чорт с ними! Горлов, дайте вашу! — а сам уже подписываю ярлыки вместо старшего врача. Штук сто успел подписать, — идут!

Ввалились, шапок не снимают, как и в первый раз, но я спокоен, усмехаюсь. Начинают снова брань: требуют вагонов, но я не даю им времени:

— Эй, земляки нечего прохлаждаться! Подходи, кто первый. Ну, вот ты, хлопец, что впереди. Показывай руку!

— Зачем? — и в недоумении смотрит на товарищей.

— Хочу посмотреть, плотник ли ты?

Замолчали, слушают, глядят на меня, друг на друга...

— Смотри! — из рукавицы вытаскивает, наконец, правую руку, показывает мозолистую ладонь.

— Настоящий плотник, — говорю, — вот тебе ярлык: годен, можешь ехать. Следующий, подходи!

— А осмстр? — спрашивает первый, начиная что-то соображать. Но больше — ни ругани, ни криков.

— С осмотром как же? — спрашивает другой, третий.

— Вот и осмстр!... Он коячен. Подходите по очереди.

Все сразу переменялось. О ругани нет и помину, злоба соскочила с лиц, стали внимательны, серьезные.

— Пстой, пстой! Толком расскажите, — обратился ко мне пожилой бас, тот самый, который в прошлый раз допытывал меня о нраве на вагоны: — А доктурша? а ведьма?

— Ведьма? На кочерге в печь улетела! Поняли?

Смех крупом, атмосфера изменилась, стало возможно говорить и серьезно.

— Стулья, лавки! — командую я: — Садитесь, земляки!

Рассаживаются, снимают шапки.

Говорю я им, что наместник поручил осмотр мне лично, что ни дороге, ни рабочим нет смысла везти больных да слабых; помрут на чужбине, в Сибири, — на чьей душе грех будет? Лучше всего отправить хилых и сомнительных домой, да на казенный счет: мы и за дорогу им заплатим, и аванса обратно не потребуем. А здоровым — скорее на работу! Осмотр же пусть сами сделают.

— Вам то, — говорю, — лучше, чем ведьме, знать, кто здоров, кто нет... А печать и ярлыки я поручаю... — и смотрю на моего знакомого, который и в этот раз не проронил ни слова

— Вас как звать?

— Силантий!

— А по батюшке?

— Матвеевич!

— Печать и ярлыки я поручаю Силантию Матвеевичу; голова у него, вижу, с лысиной, значит — ума палата! Умные головы волос не теряют. Он и будет старшим по осмотру. Кто, по вашему, может ехать на работу, тому и ставь печать. Кто не крепок или кому домой луч-

не вернуться, тех скажите больными, — их мы домой отправим, в Россию, и на наш счет.

Горлов вошел в комнату и, жуя сигару, внимательно слушал.

— А с отправкой на работу — с господином Горловым решайте, какая партия поедет первой, какая за ней.

— По артелям ехать, дело ясное; да жребий бросить, кому когда, а лошадей да сани сейчас готовить надо, чего зря сидеть-то! — слышалось с разных сторон.

Засели за дело, вошли во все детали. Все они ходили когда-то с обозами, с детства знали лошадей, понимали отлично, что надо взять, как снабдиться: главное затруднение — обогреться на станциях да выкармливать коней. Но все вопросы разрешались сейчас же дружно. Первая партия в пятьдесят подвод и двести плотников могла выйти уже на следующий день к полудню, к вечеру — другая, и за неделю или десять дней никого не должно было остаться в Сретенске, кроме больных. Значит, с Богом, приступай к работе!

Через час городэ нельзя было узнать. Как весной из закрытого на зиму улья вылетают пчелы, так высыпали и наши плотники из лагеря, где просидели больше трех недель. Город — черен от народа, улицы вдруг переполнились, жизнь закипела. Тогда-то я понял, что представляет собой компактная масса из трех тысяч человек! Делали покупки, гуляли, смотрели, шутили. Стучали топоры, визжали пилы, везли солому, сено. Подлаживали сани, оглобли, пригоняли дуги. Руготня стояла всюду, но дружеская, необидная. Спорили из-за коней, каждый тащил себе хомуты получше, выбирали сани; каждой партии хотелось коней поздоровше, сбрую понадежнее. Отбирали сено, взвешивали овес, набивали их в мешки, в торбы, укладывали провиант для людей, инструмент.

одежу. Берег занестрел саями, оглоблями, сеном, кострами. К вечеру мне Силантий сообщил, что порешили отправить в Россию пятьдесят два человека хилых да недужных, и я сейчас же получил для них два вагона, да не генплушек, а третьего класса. В Сретенске я был уже ненужен.

Эту ночь я спал спокойно, в моей руке — волосы богини Фортуны: «Теперь не убежишь!» И я не ошибся — пока королевский тигр меня не подвел...

XVI

Рано утром, солнце еще не вставало, меня разбудил какой-то крик, вернее рев, на площади. Подбежал я к окну и сквозь полузамерзшее стекло вижу: по площади, со всех сторон, бегут к санитарному управлению. Там — огромная толпа, оттуда-то и несется рев, крики, смех. Одеваюсь, схватываю шубу, шапку. Внизу — никого. Нет и полового. Спешу к толпе... Ревут, гогочут, свищут, ничего не разобрать, но все веселы, от смеха лопаются! Претискиваюсь, пробиваюсь, кто-то мне помогает, расталкивает толпу. Понал, наконец, вперед... и замер от удивления, от конфуза, — по тут же стал и сам смеяться.

Перед санитарным отделом стоял монумент, сооруженный, видимо, за ночь. Огромное бревно, в полметра толщиной и метров пять длиной, было закреплено одним концом в землю под углом в сторону санитарного управления. Бревно обстругано, выкрашено в розовый цвет, верх — как голова гриба-боровика, цветом потемнее. Бревно просверлено по всей длине, у основания в него вделан конец трубы от пожарного насоса на берегу Шилки.

Восемь здоровенных плотников, по четыре на коромысло, качали во всю мочь воду из проруби, гнали ее в бревно. Вода вылетала под давлением из головы гриба и мощной струей, разбиваясь в воздухе, падала на крышу санитарного отдела, скатывалась, замерзала. Любители у коромысел менялись, всем хотелось душу отвести, почитать с ведьмой-доктором. Вода лилась потоками, ледяные горы вокруг санитарного отдела росли с минуты на минуту. Веселье, смех, гогот! Тут и жители города, и полицейские, и каторжанки со стражей, но все они тонули в массе плотников.

Остановить скандал — и думать нечего. Пробираюсь назад, удержаться не могу, оглядываюсь на монумент, на мощную струю. Скандально, но схвачено отлично. Монумент — как живой и в полном действии!

Весь город перебивал на площади; смех и крики не прекращались весь день. Лишь к вечеру плотники угомонились, в путь отправлялась уже вторая партия в пятьдесят подвод; да и качать устали. Городовые и санитары убрали тогда потихоньку монумент и скалывали лед со здания отдела, которое превратилось в ледяную гору. Монумент, впрочем, больше был неужен, — свое дело он сделал.

Уже в начале действия пачоса, ведьма, или старший врач, бросила все и тайком через заднюю дверь на подводе уехала с одним чемоданом на соседнюю станцию, — она побоялась сесть на поезд в Сретенске, — и отбыла в Москву. Карьера ее, как старшего врача, была исперчена: история разгласилась, оставаться в Сретенске ей было невозможно.

Как только тронулись первые подводы и стала готовиться к отъезду вторая партия, я отправил торжествующую телеграмму по начальству и стал собираться сам.

Следуя советам опытного Горлова, купил я возок за сорок рублей, правда, плохой, но другого не было.

— Ничего, — утешал меня Горлов, — доедете и в этом, вы везучий!

Наутро не узнать моего возка, он — как новый! Плетники, не говоря ни слова, за ночь его отделали, все подкрепили, облегчили, устроили сидение — просто чудо! Покрыли вдобавок резьбой наружные части, да так, что, будь ленты и цветы, можно было бы и за невестой ехать на богатой купеческой свадьбе. В Благовещенске у меня его за сто рублей с руками оторвали.

В возок этот уложил я свои вещи и полярный костюм, одевшись уже по сибирски. На всю дорогу взял и еду: мешок пельменей и круг молока — его в Сибири замораживают огромными кругами и рубят потом тонерам. Захватил даже свежих китайских фруктов и винограду, — единственное удовольствие в дороге. Китайцы замораживают мандарины и спелый виноград так, что фрукты держатся всю зиму, легко перевозятся и стоят совсем дешево, даже на Амуре. Беда лишь в том, что оттаивать их надо только перед едой и столько, сколько съешь, — оттаившие портятся тотчас же. Можно есть их, впрочем, и мерзлыми, — сок превращается в тончайшие ледяные иголочки и вкус замороженных фруктов не хуже, чем свежих.

Торжествующе покинул я Сретенск, в надежде, что двери карьеры мне теперь открыты... И не ошибся, пошел я бойко: гадюка мне помогла!

О путешествии зимой на лошадях от Сретенска до Благовещенска не хочется и говорить: эти восемь суток надо просто вычеркнуть из жизни: понемногу превращаешься в чурбан, в какую-то бессознательную тушу. Вначале я пытался еще разговаривать с ямщиками. На третьем, помню, перегоне, в первый же день, сажу, за-

кутанный, в своем художественном возке, — ружье в ногах на случай нападения. Ямщик оборачивается, спрашивает:

— Ты, барин, из России?

— Да, а что?

— Оно и видно, — дурак большой!

— Чего же ты ругаешься? Почему дурак, да еще большой?

— Ружье зачем держишь? Поседешь так — далеко не уедешь.

— Как зачем? На случай разбойников; у вас пошалаивают, я слышал, сильно.

— Что же ты с ружьем делать будешь? Стрелять?.. Да ты приложись! Ну!

Я снял рукавицы, взял ружье, но действительно, даже приложить к плечу приклад оказалось невозможно: мешала двойная меховая шуба и доха.

— Видишь? Наши-то, думаешь, тебя дожидаться будут? Захотел бы какой побаловаться — у тебя давно бы в любом глазу пуля. У нас стрелки во какие! Соболей без промаха в глаз быют. Вот ты и есть дурак. Спрячь ружье от соблазна, да подальше, чтобы не узнал какой! Уж больно хорошо оно; таких здесь нету, — и почти шопотом: — Мне ребята на станции уже говорили, ружье-то приметили... Смотри, из-за него тебя же и пристрелят! В Сибири дуракам не место.

Вижу, он прав; поблагодарил за совет и, не доезжая до остановки, разобрал мой карабин и спрятал в чемодан. Больше его и не трогал.

История с ведьмой-доктором и с монументом, казалось, была забыта, жизнь принесла ей на смену не мало других; но летом, сопровождая наместника, при объезде им Амурского края, вижу раз вечером — сел он на палубе играть в винт. В разгаре игры, отыграв какую-

то масть, хлопает карту за картой, приговаривает:
«Ага?.. А у нас валет! — Мы вам не землекопы! Вот
и десятка! С нас штанов не снимешь. Берет и семерка!
Мы плотники, — взяла и шестерка!» Довольный, он
смеялся, ему вторили партнеры, смеялся и я.

История эта, видно, не совсем еще забылась.

АСЛАН-БЕК

Посвящается моей дочери,
Анни Клэр.

I

Пароход шел мягко, ровно; качки не было вовсе. На зеркальной поверхности моря от винтов оставался след из взволнованной воды и пузырьков воздуха; неутомимо носились чайки. Чувствовалась уже прохлада вечера, очарование южного воздуха, насыщенного испарениями морской воды и соли; примешивался и аромат Кюрики, Сардинии, пока еле заметный.

Кофе на пароходе подавали после обеда не в ресторане, а наверху, в баре. Не все пассажиры пили его вечером, многие предпочитали ромашку или липовый цвет; почти все, однако, требовали ликеры, жадно и много курили, мужчины и дамы. В баре было дымно, несмотря на вентиляторы и открытые окна на верхнюю палубу.

За одним столиком играли в карты, за другим — в жакз, кое-кто читал вчерашние парижские газеты, книги. Оба офицера и собеседник их отказались от кофе и поспешили на чистый воздух. После недолгой прогулки по палубе они уселись в свои кресла, и офицеры вновь попросили рассказать им что-нибудь из жизни в Сибири, страны такой далекой, своеобразной...

— С удовольствием, господа, — ответил инженер, — но что?.. Разве кое-что о сибирских каторжниках? В те времена их там было не мало, а теперь...

Благовещенск в мое время был самым интересным,

мне кажется, городом России. Не с точки зрения красоты или богатства, понятно, а как самый новый город огромного российского государства, выстроенный по американскому образцу. Лет тридцать до моего приезда туда, его до тла сожгли китайцы: дипломатам удалось уладить конфликт без войны, китайское правительство извинилось, свалило вину на «больших кулаков», заплатило, что полагалось, выдало ряд обязательств. Город вновь отстроили уже по новому плану: причем не стали восстанавливать дом за домом, улицу за улицей, какими они были прежде, а наоборот — сломали и сожгли все уцелевшие остатки, сравняли все с землей и на этой площади разбили новый город. И распланировали его очень просто: пять длинных линий параллельно Амуру на равных расстояниях друг от друга и равной ширины, — вот и улицы или авеню; пересекли их перпендикулярами, тоже параллельными между собой, — вот и переулки, равной ширины и все на равных расстояниях.

Образовали таким образом кварталы, как точные геометрические квадраты, все одинаковой площади. На случай пожара — удобство неоспоримое; хорошо и для извозчиков: зачем помнить топографию города, торговаться? Теперь расчеты просты: столько-то кварталов, столько-то гривенников. Удобно, но накладные расстояния большие, кварталы широкие, все рассчитано с запасом на будущее время, — разъезды обходятся дорого. Зато подъемов никаких, город — как стол, куда ни помотришь, улицы и переулки уходят в бесконечность, сливаются с горизонтом.

Но при ветрах, а их на Амуре хоть отбавляй, очень неважно. Дует по улицам, как в трубе, — летом пылью, зимой снег с песком, — и дует иногда так, что на ногах не удержишься. Улицы, говорю, вышли слишком широкие в виду гигиены и в расчете на лучшие времена. Но

знаю, как теперь, не замостить могли в те дни только средние полосы, и то лишь в центре города: широкие края улиц оставались незамощенными, по ним лошади бежали в сухую погоду, как по большаку в России, поднимая столбы пыли, сгоняя кур, гусей, поросят. Ближе к тротуарам шли боковые канавы для стока вод, открытые, с мостиками через них, и затем самые тротуары, то деревянные с перильцами, чтобы не упасть в канавы, то просто земляные, неогороженные и в темноту опасные.

Один квартал предназначался для администрации; другой, против него, был занят городским салом и общественным собранием с клубом; третий пошел под собор, выстроенный на личные средства купцом-миллионером Щадринным. Собор несуразный, огромный не по городу, в котором всего-то было тридцать тысяч жителей, из них православных — меньше половины. Было что замалчивать, должно быть, богатому купчине в надежде получить и на том свете местечко потеплее! В дарственной по собору записи стояло требование: сто лет впредь служить панихиды «за поминовение души купца первой гильдии Щадрина, со чада и домочадцы».

Этого купца мне пришлось застать уже старым нелюдимом, суровым, недоступным, и очень, говорили, богатым. Про его богатство ходили две легенды, обе правдоподобные. По одной — он начал свою карьеру молодым ямщиком, смысленным, решительным, как все сибиряки. Однажды спустился он грехом под лед седока-купца, предварительно обобрав его... По другой легенде, он также ездил ямщиком и, будучи парнем видным, приглянулся некоей вдове, богатой купчихе, сумел войти в доверие и себя не забыл: перевел на свое имя ее состояние. Получив так или иначе капитал, Щадрин пустил его работать по добыче золота, скупая золото у «старателей» и переправляя его на ту сторону Амура, а затем

приобрел и прииски, даже драгу для промывки, и стал уже патентованным золотопромышленником, но, утверждали, больше для отвода глаз. Имел, впрочем, ордена, медали...

В смысле общества Благовещенск не походил на города Европейской России. В Сибири, как я уже говорил, дворянства, собственно, не было никогда, как не было и помещиков. Поэтому центра, вокруг которого образовывалась и вращалась общественная жизнь русских городов там не существовало, и благовещенское общество состояло лишь из чиновников местной администрации, купцов и богатых обывателей. Чиины администрации, однако, стесненные материально, только и думали, как бы поскорее перевестись в Россию: дорога была жизнь в Благовещенске, а заработки, хоть и значительны, да лишь для предприимчивых дельцов, незанятых службой и с растяжимой моралью: сколько возможностей давало им одно золото, затем лес, пушнина, рыба, близость Китая, контрабанда!

Во главе администрации стоял вице-губернатор Сперанский, по гражданской службе, и архiereй Евгений — по духовной. Оба были присланы из России, как в ссылку и, кажется, бессрочную.

Вице-губернатор, которого мы называли Сашкой, был, как говорится, «душой общества». Статный молодец, блестящий чин придворного звания, он был воспитан для Петербурга, а не для Сибири, которую ненавидел. За что усадили его в такую глушь? Сам он никогда своей истории, т. е. истории своей ссылки, не рассказывал, но говорили, что раньше он был офицером в одном из первых гвардейских полков, в батальоне, которым командовал сам государь, бывший в то время еще наследником. Вместе они веселились, покучивали; но наслед

ник женился, а вскоре и на престол вступил. Дорога перед Сашкой открывалась головокружительная, — за Сашкой бегали, ухаживали. Все было за него: рождение, воспитание, служба; с молодым государем — собутыльник, друг...

К Петербургу Сперанский подходил как нельзя лучше. Здоровье лошадиное, весел, не пьянел, мог не спать хоть три ночи кряду, рассказывал французские скабрезные анекдоты так, что даже артисты французского театра в Петербурге давались диву. Чего еще нужно было, чтобы стать в России губернатором, министром!

И вдруг — гром! Во дворце, в интимном кругу государя, Сашка рассказал как-то новый анекдот. Государь смеялся от души, — но посмотрел на императрицу... и поперхнулся... Не сказав ни слова, она вышла из комнаты: будучи английского воспитания — она не допускала ни малейшей вольности языка. И назначили Сашку из гвардии вице-губернатором в Благовещенск с зачислением по штатской службе, без права возвращения в Петербург. Молодая государыня оказалась достойной своей тетки, королевы Виктории: никогда бедный Сашка прощен не был, хотя государь, говорили, пытался это сделать не раз.

В Благовещенске Сашка застрял до самой революции. В мое же время он был уже человеком уставшим, надежд у него больше не было, интересов никаких. Он играл в карты, чтобы развлечься, забыться — и почти всегда несчастливо; малость выпивал, читал попрежнему французские журналы (ничто другое, печатное, его не интересовало), все так же рассказывал анекдоты и запинался слабым полем. — или тот занимался им? Сашка, даже за сорок, располневший, был еще красивцем.

II

История нашего архиерея была известна меньше. Суровый, замкнутый монах был чужд по характеру. Появлялся он на люди редко и то лишь в самом тесном кругу вице-губернатора; у себя никого не принимал. Жил одиноко, скуп.

Когда-то он также был гвардейским офицером, с тех пор и был знаком со Сперанским. Жизнь в Петербурге вел он веселую, широкую, как вся русская золотая молодежь того времени. Обладая способностями, офицер на виду, он подавал надежды, но сгубили карты: как-то зарвался, рассчитаться не смог, выдал вексель. Срок подошел, платить нечем... и офицер исчез. В одном же из многочисленных русских монастырей одним монахом оказалось больше. Духовную карьеру он проделал быстро, кончил академию и дошел до сана архиерея, но был назначен в Сибирь, — история с картами не забылась. — да так и застрял в Благовещенске.

Наша группа из трех-четырех холостых инженеров, присланных на работу в Сибирь на три года, подешла именно к обществу вице-губернатора и архиерея: другие видные обитатели Благовещенска были богаты и некультурны, мы же были людьми воспитанными, но без денег. Платили нам по сибирскому масштабу мало, идти в ногу с золотопромышленниками или рыболовами мы не могли, развлечения стоили дорого. Волей судьбы мы и присоединились к компании двух видных ссыльных: одного по светской части, другого — по духовной.

Я заходил нередко в Сперанскому — посидеть, почитать французские журналы, послушать, что сведущие люди говорят. Сколько историй узнал я там из парижской жизни, закулисных сплетен, чепухов... В Париже, за четверть века я не услышал столько из жизни

артистического мира, как когда-то там, на другом конце земного шара!

Нашу жизнь мы, управленские инженеры, устроили как кто мог, в общем плохо, все было не по средствам. Да и стоило ли заботиться, — всего ведь на три года!

Удивительно, кстати сказать, была в русской администрации централизована власть. Все изучалось в Петербурге, обсуждалось, там же и решалось; оттуда шли назначения и командировки; там приказывали, не считаясь с условиями жизни, с местными обычаями и потребностями отдаленных мест. Наши содержания, назначения Петербургом на десять процентов выше российских окладов, оказались так малы, что надо было или воровать на работах, или владеть жалкое существование по сравнению с местными жителями, малообразованными сибиряками, часто из переселенцев, иногда и из ссыльных. Ни кооператива для служащих, ни лавок, ни кассы взаимопомощи! Не допускалось даже более тесного общения друг с другом, — Петербург боялся организаций, жандармский надзор зорко наблюдал за всеми. Квартиры были дороги, мебель и подавно; все было привозное, все втридорога.

Хуже всего обстояло дело с прислугой. Русской — почти никакой: мужчины не шли на домашнюю работу, считая ее ниже своего достоинства; русские женщины работать не хотели, да им и не требовалось: на двух трех мужчин на Амуре — одна женщина, — самая старая, часто уродливая, знала себе цену и за работой не бегала, за ней самой гонялись, в особенности состоятельные китайцы. Оставалась одна возможность — китайцы-бон, по русски «ходи», жулики первосортные. Вдобавок они были избалованы европейцами, главным образом англичанами на юге Китая, где одному англичанину прислуживают пять, шесть боев (Лондон огну-

скал своим чиновникам необходимые для такой жизни средства).

Избалованными постунали «ходи» и к нам — и у нас желали работать каждый лишь по своей специальности: один — кухарить, другой — убирать комнаты, третий — гладить белье.

После разорительной жизни в гостинице, устроился и я, чтобы уменьшить расходы, своим домом, вдвоем с товарищем Королевым. Пришлось взять двух людей: одного по кухонной части, другого по дому; на меньшее число прислуги ни один ходя не соглашался. Переменили мы трех, четырех: уходят вежливо, с улыбкой, но уходят, как только убедятся, что большой наживы в нашем доме нет. Как раз и последний ходя по домашней части сложил пожитки, заявив, что уезжает в Харбин на лучшие условия.

Вот и упомянул я у вице-губернатора о наших домашних затруднениях — результат плохой русской администрации, по моему мнению.

— А почему вам не взять кого-нибудь из ссыльно-поселенцев, — вставил тот, — из бывших каторжан? Среди них попадаются и не плохие... Как раз прокурор хочет поместить куда-нибудь в хорошие руки одного кавказца, князя.

— Зачем нам князь? Нам — комнаты убирать, к столу подавать.

— Это он и делает. Князем он когда-то на Кавказе был, кого-нибудь там зарезал или ограбил... Каторгу он отбыл и теперь до смерти — померной ссыльно-поселенец. К тому же — человек он простой, некультурный; по моему, отлично подойдет вам.

— Каторжник?

— Что ж из того? Они тоже люди.

Подумал я, согласился.

III

Не раз уже приходилось мне в те времена иметь дело с каторжниками, видеть их работу, условия их жизни, — приятного было мало! Все каторжники угрюмы, малособщительны, опасаются сказать слово. Тяжелые жизненные условия, тоска по свободе и, главное, сознание своей незащитности, безнадежность... Значительно лучше жилось ссыльно-поселенцам, которыми становились каторжники, отбыв свой срок, обычно уменьшавшийся наполовину за хорошее поведение. Встречался я и с ссыльно-поселенцами, в Стретенске их можно было встретить повсюду. Они пользовались ограниченной свободой, но должны были жить в определенном пункте Сибири. Там они могли заниматься вольной работой, многие обзаводились семьями, но отпечаток острога, каторги всегда оставался и на этих — угрюмый, безнадежный вид их не покидал.

Должен сказать, господа, что вопрос каторги и ссыльно-поселенцев — животрепещущий вопрос почти во всех государствах. Что делать, в самом деле, с тяжкими преступниками? Ожидать их морального возрождения?.. Но в каких условиях, где и как их содержать? в тюрьме? десять лет, двадцать, всю жизнь?.. Это бесчеловечно... и дорого. Многие правительства прибегают к ссылке в отдаленные места, где жизненные условия трудны для свободных людей. Вы слышали, понятно, о Бирибии во Франции, Марэни, Чертовом Острове... Не один депутат-социалист сделал на них карьеру: не мало писали о них и корреспонденты, понося бесчеловечность французского правительства. Когда же эти апостолы гуманизма сами достигали власти, им самим приходилось, защищаясь от нападок, доказывать, что иного выхода, кроме Бирибии, и нет...

То же было в России. Сибирская каторга и Сахалин были излюбленными конями, которых седлали рылые борзописцы, жлая понравиться телше. Ссылали в Сибирь за тяжкие преступления, — смертная казнь была в России отменена еще Елизаветой Петровной и применялась лишь в исключительных случаях за покушение на цареубийство, — ссылали тех, кто был осужден на вечную каторгу, на двадцать или на десять лет каторжных работ, главным образом, за убийства. Многие не выдерживали, убегали с работ или из поселения; за ними охстились, заковывали их снова: не мало погибало от холода, от голода, от пули стражника или от лесных зверей.

На каторге было два режима: уголовный и политический. Второй — давал ряд привилегий осужденным, уже потому что у них были сторонники, а часто и средства к существованию. Побег политический был нередки. обставлялись широко и обычно удавались, так как администрации ссылки была бегна, зачастую и подкупна. От тяжелых работ «политические» были освобождены и жили неплохо; но лишние свободы, жизнь в тяжелом климате, желание вернуться на родину, отомстить, — все это делало их жизнь мучительной, подчас невыносимой. Обращение с каторжниками было строгое, но далеко не такое, как это описывали кинкуши оппозиции или газетные корреспонденты, желавшие произвести сенсацию.

Среди политических каторжников я нашел однажды одного из своих школьных товарищей. Незадолго до окончания мной института, однокурсника моего Линка арестовали, сослали. Оказалось, что, проектируя мост для диплома, он одновременно занимался и свержением существовавшего в России строя; его и отправили в Нерчинск.

Проезжая как-то по постройке Амурской дороги, отыскал я своего бывшего товарища: Линк заведывал работой каторжников, сам оставаясь каторжником. Он так был поглощен занятиями (или только сделал вид), когда я подошел к нему, что со мной еле поздоровался. На нем было арестантское платье, но чистое, приличное, — цепей не было; пользовался он, видимо, уважением тюремной администрации. Уже в институте Линк отличался сумрачностью, всегда был сосредоточен; на каторге он стал суров, мрачен, при встрече со мной ни про кого из старых товарищей не преронил ни слова, не поинтересовался даже ничем и никем из прошлой жизни.

Много лет спустя фамилию эту я не раз встречал в советских журналах. В России теперь Линк — большой человек, состоял в комитете по разработке планов пятилеток и, если не ошибаюсь, он же вел работы по прорытию одного из грандиозных каналов на нашем Севере, сооруженных трудом ссыльных. Каторжная академия пригодилась Линку.

Не мало и других деятелей Советского союза прошли через каторгу при царском режиме. Многие не выдерживали тяжелых физических и моральных условий этой жизни, зато другие, сильнее их, сделались после каторги действительно людьми с закаленными характерами, многому научились.

Лет десять до моего прибытия на Восток, обращение с каторжниками было безжалостно, но после реформы тюремного ведомства каторжный режим стал у нас чуть ли не самым гуманным на свете. Реформа эта была проведена людьми культурными, желавшими сделать карьеру, угодив сильным мира сего, а эти последние, как и большинство представителей русского правительства, играли в либерализм, оставаясь часто черносотенцами в душе. Во главе тюремного департамента стоял

Галкин-Врасский с молодыми сотрудниками из привилегированных высших школ, желавшими выдвинуться во что бы то ни стало.

Кстати, по тюремному департаменту с невероятной быстротой сделали карьеру многие из министров, имена которых еще недавно были так популярны: Коковцов, Рухлов и другие. Правда, мало кто из лицистов соглашался идти в тюремщики, шли только те, кто хотел преуспеть по службе как можно скорее... Впрочем, наши карьеристы-чиновники изобретали и другие способы отличиться, — возьмем, например, Витте, о котором вы, вероятно, слышали. По окончании университета Витте поступил на железную дорогу в отдел движения, где не было никого с высшим образованием, но скоро увидел, что карьеры не сделать и... ударился в политику. Тогда было время покушений на царя и на его окружение. Витте и пришла мысль — ответить террористам тем же, по принципу «око за око, зуб за зуб». Он поступил в общество Михаила Архангела и подал записку о необходимости организовать покушения на революционеров: убийство за убийство. Идея понравилась, дошла до великого князя Николая Николаевича. На молодого, никому еще неведомого Витте обратили внимание на верхах, ему и выпал жребий убить в Парке одного известного террориста... С этим поручением Витте случайно не справился, но карьера его была обеспечена: великий князь стал ему покровительствовать. В благодарность Витте получил место начальника движения, а затем и начальника дороги. Остальное вы можете узнать из его автобиографии, хотя там не мало выдумок, да и просто лжи.

Молодые карьеристы внесли в тюремное дело принципы гуманности, создавшие условия жизни для кагор-жников в Сибири во много раз лучшие, чем в Маро-

ни и других нерусских местах. Однако, тайга в районе Сретенска, Нерчинска и в других каторжных центрах так сурова и климатические условия там так трудны, что жизнь каторжников даже и после либеральных реформ была не жизнью, а действительно каторгой...

Но все мы, собственно, были тогда ссыльными, только прикрытыми фиговым листком: вице-губернатор пострадал за неуместный анекдот, архиерей — за карты, а мы, инженеры, попали в Сибирь на три года, кто из-за любви к строительной работе, кто по необходимости зарабатывать хлеб (за грехи русского правительства, которое так хорошо хозяйничало в великой стране, что работы у себя дома не пахло).

На следующее утро пришел к нам и ссыльный, присланный Сперанским, бывший каторжник. Его номера по ссылке я не помню, звали же его Аслан-Бек. Что значит по русски «бек», я и теперь хорошо не знаю. Это титул у магометан: в одних странах «бек», в других — «бей». Все его и значение меняются от одного племени к другому (а на одном Кавказе — около тридцати отдельных народностей, не говоря о племенах). По русски «бек» соответствует титулу «князь». Так мы и стали звать Аслан-Бека.

Заметьте, господа, немцам так и не удалось привить русскому народу уважения к титулам, даже за двести лет немецкого у нас управления. Титулы давались у нас самодержавными самодурами часто ни за что, правительство предписывало уважать их, награждало ими достойнейших, устанавливало целый ряд привилегий, — но русская душа так и осталась глубоко демократичной и, как бы подчеркивая свое отрицательное отношение к титулам, наделяла в насмешку ими людей далеко не синей крови и белой кости. Продавец старого платья в России иначе не назывался, как «князь»: тоже

и татары-лакеи в ресторанах. Хотела хозяйка где-нибудь на задворках Петербурга или Копенгаги избавиться от хлама, она отворяла форточку, когда слышала на улице: «халат, халат!», и звала: «Князь, сюда!».

На прибалтийском побережьи трубочистов иначе не звали, как «маркиз». Это объясняется тем, что специальность чистить трубы, грязная и неблагодарная, досталась когда-то французам, политическим эмигрантам после великой революции. Несчастные «педорезанные» аристократы и занимались этой работой во время эмиграции, а сыновья некоторых из них не бросили ее и после. Они же дали ей форму одежды. В Риге, в Кенигсберге, в Гамбурге можно встретить черного от сажи человека, с мотком веревки через плечо, но.. в цилиндре и перчатках. И тот, кому надо почистить трубы, зовет «маркиза».

Кроме того, титулы давались в России, особенно в начале немецкого в ней засилья, нередко, часто — позорно, за заслуги, о которых лучше не упоминать...

Князей развелось у нас особенно много после присоединения Кавказа, когда сохранены были местные титулы в плохом переводе на русский язык. Да и русские законы покровительствовали размножению их. У графа Льва Толстого, например, было тринадцать человек детей — столько же новых графов и графинь! И сколько насмешливых поговорок насчет аристократии создано по этому поводу в толще русского народа...

Русский народ, господа, уважения к титулам не имел. Да Европа их и не признавала.

IV

Наш князь, Аслан-Бек, чеченец родом, сослан был на двадцать лет каторжных работ. Отбыв половину срока.

он стал ссыльно-поселенцем до конца жизни. Кавказ для него умер; доживать век и работать князь должен был в Благоевченске и каждую неделю являться в полицию. Убежишь — каторга уже до смерти, а то — и пуля!

Определить возраст князя по виду было невозможно. По силуету, движениям, легкому шагу и по горящим глазам — ему могло быть лет тридцать. По изможденному лицу, острому, как лезвие ножа, и по седым усам, — и все шестьдесят. Нос орлиный, глаза посажены глубоко, сверкают из под всегда нахмуренных косматых с проседью бровей, голова бритая. Поразили меня его руки — ладонь узкая, порошчатая, пальцы длинные, видно, что предки его физическим трудом не занимались веками.

Все условия он принял без возражений; вид угрюмый, сумрачный. Имущество его оказалось с ним же — узелок под мышкой. Одет он был чисто, но бедно — какой-то костюм, подражание кавказскому бешмету, и самодельные чуваки. Поместили мы князя в чуланчике около кухни; но со второго же дня наш хотя-повар стал жаловаться: князь — человек нехороший, своих вещей не имеет!

— Вещей нет, — встревожился мой приятель, — значит, замысливает что-нибудь. Обретет и убежит!

На следующее утро — хуже. Ходя волнуется, старается объяснить что-то. С трудом мы поняли, что наш каторжник оттачивает большой нож.

— Какой нож? — спрашиваю, — ссыльные иметь оружия не должны.

— Большой, большой, вот! — и ходя руками отмеривает чуть не метр.

Мы — на кухню; ходя осторожно за нами.

— Покажи нож! — говорю Аслану.

— Нет ножа.

— Как, нет? Ходи видел.

— Бритва, не нож.

В чуланчике увидели мы разложенные пожитки князя. Коврик, на котором он молился, пара старых валенок и в одном из них — самодельная бритва из обломка косы, по виду, действительно, ужасная! Как ухитрился бедняга брить голову этим орудием — не знаю, но голова Аслана блестяла всегда, как бильярдный шар.

Смутился я, увидев такую пицету князя; ходя затаил злобу и ласково улыбался, а Королев заявил тут же, что будет впредь закирывать спальною на ключ и мне советует делать то же.

Скоро мы, однако, убедились, что князь человек хороший, по ханжа, по нашему: молился он своему Аллаху, я не знаю, сколько раз в день, и постоянно обмывал ладони, руки и все, что по Корану полагается. Чистоты и опрятности был неопишуемой, без усталости вытирал пыль, чистил, мыл, шил даже. Неприятна была лишь его походка: он не ходил, а скользил в своих чулках (которые сам же и мастерила), ступая как горцы, на лентку. Пройдет около вас — ни малейшего шума, только движение воздуха.

Наскучивало еще его пение. Князь собственно не пел скорее скулил высоким тенором, — а дверь была тонкая, звуки доносились и до нас. Пел же он всегда, когда шил или когда гладил. Мотивы были, вероятно, чеченские — жалобные, заунывные: из русских песен пел он одну единственную, всегда без слов и на татарский манер высоким, приглушенным, гортанным голосом. То был «гимн» сибирских каторжников.

Славное море — священный Байкал,
Славный корабль — омулевая бочка...
Эй, Баргузин, пошевеливай вал,
Плыть мелодцу недалечко!

Песнь эта — крик истрадавшей на каторге души. радость заключенного, вырвавшегося, наконец, на свободу. Под пулями стражников каторжник пробрался через тайгу, поборол голод и холод, спасся от диких зверей. (Одолеть еще Байкал (обойти его пельзя, можно только переплыть) — и на той стороне беглец найдет места менее дикие, населенные. Там и опасности меньше и люди мягче, добрее. Но переплыть возможно лишь старым испытанным способом каторжан, в бочке от смулов, замечательной рыбы Байкала. Опасность смертельная, помочь может лишь Баргузин, благоприятный северо-западный ветер: волны донесут тогда до желанного берега. Вот и стоит каторжник на берегу Байкала, чувствует свободу, радость вольной жизни, ожидает спасительного ветра... Этот крик измученной души выливается в мощную песню, созданную народным вдохновением. И это бабье, придушенное скуление Аслана...

— Да ты знаешь, князь, -- спросил я его как-то, -- что такое «омулевая бочка»? Кто такой Баргузин?

Князь отмолчался и в этот день больше не шел, хотя и гладил, а песни каторжников, как бы нарочие, долетала со двора:

Хоть час бы один подышать
Дыханьем лугов полевых!

Два ссыльно-поселенца пилили там дрова, — заготавливали топливо для дома. Один — осинший от простуды или от возраста бас, другой — высокий, дребезжащий тенорок, звенящий, как надтреснутый хрустальный бокал.

О хоть бы час лишь оди-и-ни!

Высокие, хватающие за сердце ноты замирали в хо-

лодном, неприветливом воздухе Атура... Аслан-бек, угрюмый, отсиживался в неуютной кухне, а слова и звуки их любимой песни позволяли катержанам на минуту забыться, обогревали души певцов, с десятков уже лет утеравших свободу и утеравших ее безвозвратно...

Скоро он стал незаменим для обоих нас, холостяков: мыть умел превосходно, пуговицы пришивал, гладил отлично, как умеют это делать китайцы, — какой блеск наводил он на наши форменные белые воротнички! Примирился с ним и Королев, особенно, когда увидел, что денег на хозяйство князь почти не запрашивает, экономит каждую копейку. Даже шутил иногда мой сожитель:

— За что тебя, князь, сослали? Убил кого-нибудь?

— Не убивал.

— Ограбил, значит?

Ответом один взгляд, но какой! князь величественно удалился в чуланчик.

Примирился с Асланом и ходил, только плакался, что князь не играет ни в карты, ни в какую другую игру.

Все китайцы любят игры, особенно азартные. Проигрывают они не только то, что имеют, но и то, что будут иметь. На постройке Мурманской дороги у меня было десять тысяч китайцев; работники они неплохие, но беда — их азартные игры. Китайцы мои проигрывали все, что у них было, и все на двадцать лет вперед! Боролись мы с этим азартом всеми способами, но искоренить его не было никакой возможности: азарт — вековое наследие китайцев.

Стоимость жизни в Благовещенске, однако, не понижалась; все, что мы с Королевым получали, проживалось дочиستا. Один был выход — уменьшить расходы на извозчиков, — топография Благовещенска была, я вам говорил, верхом современности, но накладна.

— Почему бы нам не завести своей лошади? — пред-

ложил Королев: — Князь недаром кавказец, лошадей должен знать. Прокормить же одну лошадь — не Бог весть что!

Когда привели коня на двор, радости князя не было конца, он даже улыбнулся, встретил коня, как брата, но чеченски заговорил с ним.

Но конь есть, а пролетки нету. — задержалась в дороге. А тут и другое осложнение: конь захромал. Позвали ветеринара. «Ойю», говорит, «и конь неважный».

— Коня хорош, — вмешался Аслан, — доктор нэхорш! Сам вылечу.

И вылечил: один подковный гвоздь, оказалось, затронул тело, вбит был плохо.

Прибыла, наконец, и пролетка, доставили и сбрую, даже сани для зимы, а конь наш все с компрессом на ноге.

— Когда же поедем? — каждое утро спрашиваем мы Аслана.

— Коня болэн.

А конь разжирел, выхолонный, хогь копыто в повязке, нефыркивает, смотрит на князя умными глазами и ласково ржет, когда его зачует. Давно уже князь перетанцил в конюшню свою койку, коврик, валенки: в доме стало покойнее, — даже Королев перестал запираяться на ключ. Но облегчения для кармана никакого: мы — все на извозчиках. Пришлось пуститься на хитрость.

— Барышник придет. — говорим Аслану, — отдай ему коня.

— Зачем?

— Как зачем? Конь болен, плохой. Мы его и продали.

Одеваемся, чтобы ехать в управление: конь — у подьезда, запряжен, ожидает. Аслая гладит ему гриву.

— Выздоровел конь?

— Здоров коня! — и глядит сумрачно.

Мы с Королевым уехали, — в первый раз на собственном выезде.

— Что же ты, Аслан?.. Бери вожжи!

Тот ни с места.

— Показки, князь, как ты правишь! — смеется оба.

— Нэ кучер!.. Князь! — тон решительный, взгляд свирепый.

— Не князь ты, каторжник! — вскрикнул Король.

В ответ Аслан бросил ему только взгляд: он был понятен: шутить дальше — нельзя!

— Хорошо... Сам буду править, — я перебеж на козлы.

Враги уехали рядом. Король покался на сидении и не проронил больше ни слова. Конь бежал ладно; отъезжая, прогулка была для него удовольствием. Доставил я Королеву в его отдел, пересел к Аслану, и тот довез меня до моего управления.

И та же комедия — каждый день. Из дома кучером — я, на козлы князь так и не сел: упрям, как осел, и самолюбие не в меру. Но для дома — не человек, а золото! Ничего не пропадало, не портялось.

Бывали все же и недоразумения. Как-то раз причесываюсь, в щетке волосы не мои и не Королева: тот был лысый.

— Кто моей головной щеткой чешется? — спрашиваю князя.

— Нэ знаю.

— Как не знаешь? Гледи, волосы не мои! — рассматриваю поближе: — Да это шерсть! Ты коня ею чешешь?.. Моей головной щеткой? грязного коня?

— Коня нэ грязный, — оказалось, что он чистил мою коню живот: — Живот лажный, нельзя скраблящей!

— Ты хотя бы вымыл щетку?

— Мыл щетку. Ты грязный, коня чистый, — и пока-

зывает мне, что я лью что-то себе на голову, волосы чем-то мажу. Вот перед тем, как копы чистить, он мою щетку и мыл...

V

Играют раз в карты у вице-губернатора, я — уткнулся в журналы. Слышу — американский аукцион: Сашка продает кинжал, начальная цена — двадцать пять рублей. Расхваливает товар, балагурит, но никто не дает этой суммы.

— А вы? — обратился он ко мне: — В карты не играете, водки не пьете. Не скупитесь, вещь хорошая!

Неудобно было мне отказаться.

— Есть покупатель за двадцать пять, — обрадовался Сашка, — кто больше? Раз... два... Никого? — я стучит по столу: — Ваш кинжал, гоните деньги!

Заплатил я, получил кинжал, а сам жалею: зачем он мне? Кинжал, разглядываю, как кинжал, старый, ножны в серебряной отделке; клинок — прямой, широк, дорожка посредине с обеих сторон; рукоять красивая, но для моей руки мала. Какая-то надпись вычеканена по арабски или по турецки.

— Кинжал этот вы сохраните, — говорит мне вечером Сашка, — это личный мне подарок государя. Раз на охоте я ссадил кабана в двух шагах от него. Он снял этот кинжал с пояса и подарил мне, сказав, что на нем есть надпись: «быть в руке достойнейшего».

— Ты, Сперанский, и есть достойнейший, твой выстрел замечательный!

Государю, бывшему в то время наследником, кинжал этот перешел от его деда Александра II, которому его вручили после покорения Кавказа, сняв с какого-то убитого имама, верховного вождя горцев.

— Зачем же вы кинжал продали?

— Деньги, дорогой, нужны. Вчера меня преосвященный в лоск разделал; не знаю, какому он святому молится. А сегодня и ваши молодцы меня общипали. Скоро другие вещи продавать придется, если фортуна не смилостивится, — он снова повеселел.

— Переведи, князь, что здесь вычеканено? -- говорю я вечером Аслану.

Тот осмотрел ножны, серебро, взглянул на клинок, стал разбирать надпись... Вдруг — на коленн, целует клинок, прижимает кинжал ко лбу, к сердцу, бормочет по чеченски.

— Что такое, князь?

— Святой!.. Кинжал великого Имама! --- а сам преобразился, сияет, глаза горят...

— Это тебе, Аслан! --- говорю ему; он не берет, не верит... — Это тебе подарок. Бери!

Князь чуть не прослезился, принял кинжал, ушел. А минут через пять входит в гостиную, весь как бы перерожденный, — не каторжник, князь!

— Мой кинжал? Мне подарок?

— Тебе.

— Кунак тэнарь бұдәһи! Брат! -- жмет мою руку, прикладывает ее ладонью к своему сердцу, ко лбу: — Кунак!

И стал я кунаком князя-каторжника.

— Здорово вас вчера вице-губернатор поддел на двадцать пять рублей, — подшучивал надо мной Королев за утренним кофе. — Зачем вам этот старый хлам?

— Не хлам, а священный кинжал Имама! --- я я рассказал ему, как взволновался невозмутимый всегда Аслан.

— Да? Покажите, пожалуйста, -- заинтересовался

Корслев: — Неужели в самом деле Сперанский на этот раз не соврал?

— Я его отдал, подарил Аслану.

— Вы шутите? — Корслев поперхнулся.

— Верно.

— Да вы права не имеее давать ссыльным оружия! Он нас им же и зарежет! — кофе отставил, поблелел. ст волнения утирает лысую голову.

Меня всегда удивляла боязнь пожилых людей за свою жизнь. Казалось бы, никому уже не нужен, почти беспо-моцен, трясется весь, но все лечится, дрожит из-за каждого пустяка... А стоит ли бояться, цепляться за докторов?

— Зачем ему нас резать? — отвечаю Королеву. — сп на грабителя не похож.

— Не похож? Чего же вам еще? Глаза преступника, сам каторжный, кого-то уже раньше ухлопал, а теперь к него и кинжал. Нет, батенька, с меня ваших фокусов довольно; я хочу спать спокойно. Я уезжаю!

— Вы с ума сошли?

— Сами вы сумасшедший! Вас зарежет — туда вам и дорога! А я умирать не желаю. Ни одной ночи с этим вооруженным негодлем не останусь!.. Оно и лучше, — уже спокойнее добавил он, — Благовещенск мне не под-ходит, в карты не везет, а отказаться от них не могу. Перееду лучше на линию, не то здесь без сапог пойдемь или горло перережут

— И меня одного оставите? А условились жить вме-сте!

— Да, но не с преступником. Вы сами нарушили ус-ловие, на себя и пеняйте. Я сегодня же, нет, не сего-дня, а сейчас же уеду!

Он собрался, уложил вещи и переехал в гостиницу, а дня через два и на линию — за изымать свои карточные

раны. «Придется», думаю, «и мне бросить дом или искать другого компаньона, похрабрее».

Ищу -- никого! А бросить насиженное место жалко: жизнь наладилась, расходы, благодаря Аслану, сильно сократились, и сам он обещался, стал разговорчивее.

Увидел я как-то его руку выше ладони: прорез в запястьях чуть не до кости, и на обеих руках. Оказалось, — от наручников: в начале каторги князь бился как бешеный, так хотелось ему высвободить руки, так жаждал он свободы!

В другой раз спрашиваю, за что он сослан. Убил кого-нибудь? Нет, не убивал, а отомстил убийце своего брата, — кровавая месть на Кавказе была в мое время страшным бычом (не знаю, сумею ли новое правительство пресветить горцев, искоренить этот страшный обычай). Я пытался объяснить князю, что это все равно — убийство!

— На войну убьешь врага, — возражал он, — тебя паднут кандалы? На Кавказе -- всегда война! — Он был уверен, что поступил так, как был обязан по законам Корана.

От каторги у него сохранились воспоминания кошмарные; когда речь заходила о ней, он не мог произнести ни слова, махал рукой, уходил к себе. Урядник, вероятно унтер-офицер конвойной стражи, был для него символом ужаса, чего-то неопишимо страшного, уже дьявола (таких, я думаю, там было не мало).

Бросить дом, -- по куда деть Аслана? Поговорил с ним. Выслушал, ничего не ответил, но вечером изложил мне, уже как кунаку, целый проект организации. По его мнению вся беда наша была от китайцев: «Ходи -- вот, надо повара прогнать, Аслан сам будет готовить. пашлык делать, кавказские блюда... Аслану ничего платить не надо...»

Отказался я от жертвы князя, но решил испытать, последовать его совету. В тот же день он вытурил ходю, поймав его на чем-то. Тот сложил пожитки, вежливо раскланялся с Асланом и ушел. И — чудеса! Расчитав первого ходю, мы закрыли в свое время лишь один кран. А теперь оказалось, что наш ходя-повар экономил сахар и сам же нам его потом продавал, — плутовал на масле, рыбе, мясе, жулил на всем! С его уходом — захлопнулся и второй кран: перемена произошла потрясающая, расходы сократились больше, чем вдесятеро. Князь покупал так дешево, что я только тогда понял, как нас обворовывали наши ходя-повара в стачке с приятелями-продавцами.

Правда, случались теперь и курьезы. Вернулся как-то князь с базара, показывает чудесную рыбу кэту, она, кажется мне, только в Амуре и водится.

— Сколько, князь, заплатил?

— Ничего!

— Как ничего?

Покупал, — объяснил он мне, — у нового китайца-рыболова, тот рыбу ему даром и отдал, князь жалел даже, что не взял и на завтра...

Пошел я сам на базар; там — история! Грозные глаза Аслана наводили страх на китайцев; — действительно, выдержать его взгляд было трудно. Китайцы же всегда улыбаются, всегда приветливы (плод тысячелетней культуры); все они сейчас же и уступали Аслану, как только он появлялся у лотков и прилавков. К новому продавцу рыбы он подошел с такими молниями в глазах, что ходя испугался, бросил товар, убежал!

Китайцы мне подтвердили, что все они боятся Аслана, никто работать с ним не хочет, — себе ничего не берет и другим не дает! Для китайской морали это не подходило.

VI

С китайцами пришлось мне познакомиться и поближе. Получил я назначение присутствовать на казни в Китае, в качестве представителя постройки: убили одного нашего артельщика, двух ямщиков и четырех стражников. Следы убийц вели с линии постройки Амурской дороги на китайскую сторону. Сделали мы представление Китаю, требовали расследования, удовлетворения... Через неделю ответ: преступники пойманы, — пожалуйста присутствовать при наказании. От России был командирован прокурор, полицмейстер и я, как представитель пострадавшей стороны.

Мы выехали на трех санях, — у всех нас были свои выезды. Формальностей для переезда границы — реки Амура — никаких: пограничная стража была предупреждена как на нашем, так и на китайском берегу. На той стороне нас встретил китайский полицмейстер и проводил к местному губернатору, важному мандарину.

Стиль губернаторского дома — смешанный, китайский с европейским; внутри плохая европейская мебель и чудесные китайские вазы, зеркала в лакированных рамах, ширмы, беседлушки. Сам мандарин, пожилой китаец, вежлив, как все азиаты, одет красочно: шелковая синяя юбка, верхний кафтан розовый с зеленым, тоже шелковый, с узорными золотыми пуговицами; сапоги мягкие на толстой подошве из вышитой материи; на голове — шапка со знаком мандарина. Сам он играет веером, пальцы — как точеные, с полувершковыми ногтями, но говорит лишь по китайски; не поняли мы ни слова из его пышного приветствия. Переводчик же сообщил нам, что китайская администрация сделала все, чтобы дать немедленное удовлетворение справедливым требованиям России: преступники уже осуждены, ожи-

дают только нашего прибытия, чтобы подвергнуться наказанию.

Губернатор был особенно доволен тем, что инцидент закончился так быстро, без вмешательства дипломатии и стелли. Наш прокурор поблагодарил его в надежде, что так же, по-соседски, будут разрешаться и другие недоразумения, если бы они возникли. Поклоны, благодарности, улыбки без конца.

К месту казни нас сопровождали должностные лица, говорившие по русски. Вообще количество китайцев, владевших русским языком, меня на Амуре поражало; объяснялось это манчжурской дорогой и городами, как Харбин, Мукден. Цицикар, благодаря которым китайцы усваивали русский обиходный язык.

Город Сахалин, на другой стороне Амура, раза в два больше Благовещенска. Он грязный, тесный, но характерный, куда интереснее своего русского соседа. Дома — то кирпичные, то деревянные, архитектура — китайская, много скульптурных украшений, крыши и карнизы богатой, причудливой формы.

Улицы Сахалина оживлены. Мужчины с косами — знак преданности богдыхану — иногда до пяток; волосы — как вероново крыло. Говорили, что если китайцам своих волос иногда не доставало для хорошей косы, они вилечали конские хвосты. Разница, правда, небольшая: волосы китайцев толсты, совсем как лошадиные. Цепятся они и нашими парикмахерами: лучше держат завивку, моль их не трогает и паразиты не заводятся (будто бы от запаха бобового масла). Китайские волосы рассекаются для париков по всей длине на четыре части, иначе они слишком толсты, — не отсюда ли известное французское выражение: «couper un cheveu en quatre».

На улицах Сахальяна много женщин. Китайки — маленькие, на ужасных изуродованных пошках, большинство с детшиками на спине (к счастью эта мода теперь забыта, как и корсет в Европе). Китайчага, лет до восьми, красивы, даже на европейский вкус, но после этого возраста у них начинает резко обозначаться тип желтой расы, красота которой нам непонятна. Один раз я попросил японца указать мне в ряде молоденьких японок, какую из них он считает самой привлекательной; он показал мне ту, которая, на мой вкус, была на редкость некрасива. Сам же он вежливо пожал плечами и снисходительно улыбнулся, когда я обратил его внимание на другую, на мой взгляд прехорошенькую. Впрочем, о вкусах не спорят, достаточно взглянуть на японскую или китайскую Венеру...

Мы проходили около дома, разукрашенного фонариками.

— Неужели иллюминация по случаю казни? — спрашиваю.

— Нет. Здесь доктор живет.

За душу каждого умершего пациента китайский доктор должен вывешивать фонарик и зажигать его вечером, проделывая это в течение определенного времени. Эта реклама «от обратного» показалась мне оригинальной и неглупой. Посмотрев на такой дом, разукрашенный сотней и больше фонариков, пациент пойдет скорее к другому врачу, менее нарядному! Кстати скажу, что китайские доктора часто знают натуру человека и целебные травы много основательнее наших, благодаря тысячелетней практике и близости к природе. Обращались к ним и с русской стороны, когда наши доктора были бессильны.

Пришлось мне раз видеть на Амуре умирающего от тифа. Китайский врач, приглашенный в последнюю ми-

нуту, спросил семью: желает ли она испытать крайнее средство — больной или выздоровеет немедленно, или сердце не выдержит и тогда он скорострительно умрет. Семья согласилась. Китаец дал больному какой-то препарат: жар поднялся до предела, пульс — как бешеный, больной в буквальном смысле слова запылал, потом утих, успокоился; на другой день опасность миновала.

На улицах нам встречались военные, — чины их трудно разобрать. Китайская армия до ее реорганизации была своеобразна, да и принцип войны у китайцев был другой, чем у европейцев. Китайская армия старалась не убивать, а испугать противника. Мечи у них такие, что от одного вида враг должен убежать, бросив собственное оружие. Пистолеты и ружья стреляли не для того, чтобы поразить на смерть, а чтобы сделать как можно больше шума. Накипики, драконы, знамена, чудовища, маски... Европейцы все это изменили, переменилась и мораль народа: китайские солдаты теперь не останутся, пожалуй, от своих учителей, японцев и от Европы...

Китайская казнь — возмутительна. Неприятно и сейчас вспомнить про нее, а мы видели и великую войну и в гражданской повидали не мало прелестей! Удивительнее всего было отношение самих осужденных к смерти и поведение зрителей, среди которых были и наши кучера. Китайцы не боятся смерти, относятся к ней равнодушно. — осужденные хладнокровно смотрели, как рубили головы товарищам и... улыбались, зная, что через минуту на плахе будут сами! Толпа зрителей комментировала удары палача, одобряла, когда голова падала сразу, порицала, смеялась, если удар не сломил головы начисто...

Осужденных было четверо, как и указывали следы на нашей стороне. Четвертый был мальчишка, лет тринадцати. Первая голова отлетела с одного удара. Палач поднял ее за косу. «Хау, хау!» — раздались другом одобригелные крики. Остальные осужденные были тоже довольны, улыбапсь. На второй голове меч соскользнул, — ожидавшие очереди остались через минуту без голсвы насмехались над неловкостью палача...

— Вы подтруниваете, — говорил я потом нашему прокурору, — над китайской администрацией, а она в неделю закончила все дело! У нас следствие тянулось бы не меньше года.

— Возможно, но зато мы постарались бы найти виновных.

— А здесь? Им уже и головы отрубили.

— Вы шутите? Те, кому отрубили головы, и понятия не имели об убийстве наших стражников и артельщика. Их просто взяли из тюрьмы, где они сидели за что-нибудь другое, а сегодня в нашем присутствии им торжественно и отрубили головы. Мы с вами сыграли роль преглупую, но проверить — мы ни права, ни возможности не имеем.

— А мальчишка?

— И он. Украл какую-нибудь безделницу, его и посадили. В нашей же ноте было указано, что один след маленький, видимо, подростка: его и на плаху! А за что?

VII

После казни был обед у губернатора. Под влиянием Европы и Японии жизнь и обычаи в Китче теперь, вероятно, изменились, но в те годы торжественный обед был церемонией, перед которой все наши обеды—грубое

обжорство. Китайский старинный обед — гастрономическое торжество, поэзия, от которой ощущения и чувства человека получают высочайшее удовлетворение. Длится такой обед долго, стоит он дорого и вспоминается потом много времени. Я вот, например, помню его всю жизнь, так как лучшее, артистичнее и изысканнее ничего, кажется, не придумать! Рассказывать об этом обеде сейчас не буду; в другой раз как-нибудь, равно как и о китайском театре, куда нас повели потом, чтобы рассеять гяжелое впечатление от казни.

От приглашения к какому-то другому мандарину я уклонился и поспешил обратно в Россию.

Выехали мы той же дорогой. Застоявшийся конь бойко пошел по спешной, мягкой дороге.

— Князь, видел? — спросил я Аслана, еще под впечатлением гнусного зрелища. Тот молчал, не спуская глаз с коня. — Видел? Ты же был в толпе, я тебя заметил.

— Нэ хорошо, кунак! — князь сплюнул на снег. — нэ хорошо. Зачем смотрэл? Зачем голову рубил? Зачем мальчик голову рубил? Его мать плакать будэт.

— Надо пример другим показать, — объяснял я, — чтобы другие не крали, не убивали! — но мои старания были напрасны, у князя было собственное мнение, собственный взгляд. Больше всего взволновала его казнь мальчика... горе матери, которой, может быть, и в живых-то не было.

— Мать, может, и не знает.

— Нэ знает? Как нэ знает? Мать все знает! Нэ малчик, а она страдает. Понял? — и здесь молчаливый князь разговорился в первый раз за весь год, что жил у меня, а может быть и за все время каторги. Он рассказывал мне на своем ужасном русском языке горекую легенду; она, приблизительно, такая:

В горах Кавказа жил молодой чеченец, храбрый, как все чеченцы, красивый. Ему приглянулась девушка из соседнего аула, красавица, но хитрая, злая. Она смеялась над чувствами чеченца, не верила его любви. «Я докажу тебе, чем хочешь!» — вскрикнул молодой чеченец — «готовью для тебя табун палаточных скакунов, привезу самое красивое ожерелье, построю такую сакню, какой нет ни у кого!» — «Не нужно мне ни сакни, ни ожерелья, ни коней», — отвечала злая девушка, — «если хочешь доказать свою любовь, принеси мне сердце твоей матери». Опечалился чеченец, уговаривал красавицу, просил, плакал, но та — непреклонна. Вскочил тогда чеченец на коня, помчался в свой аул, убил мать, вырезал ее сердце, положил в мешок и уж хотел вскочить на коня, чтобы скакать к красавице, — но конь, испугавшись, сделал прыжок — чеченец упал, ушибся. И слышит вдруг он тихий, ласкающий голос: «Тебе больно, мой маленький?» Оглянулся чеченец — никого! И понял он тогда, что это — голос матери: она, убитая, жалеет его.

Удивительна не сама известная легенда, а то, что мне ее рассказал каторжник, который вообще не разговаривал, полжизни пробыл в страшной ссылке. Я не знал даже, есть ли еще у него родные на Кавказе, жива ли его мать...

Поразило меня еще то, что двадцать лет спустя мне пришлось иметь дело с перувианской миссией в Париже и познакомиться с майором, который рассказал мне старинную перувианскую легенду, передававшуюся там из рода в род: она была та же, что и кавказская, только «чеченец» заменялось «ацтеком». А недавно мне говорили, что одна английская писательница написала роман на ту же тему, вероятно, под влиянием песенки в ришпенювской «La Glu»... Чувства людей, основные

принципы морали, выходит, у всех одни и те же. независимо от континентов, цвета кожи, тысячелетий! В этом единстве понятий — залог будущего мира, надежда паша на лучшие времена.

Жизнь потекла затем спокойно. Зимой работы по постройке мало: подготовка к летнему сезону, кессоны больших мостов да тунели и борьба с морозом. Последняя — не легка: мерзли паровозы, автомобили, люди. выпучивало свай, заносило снегом выемки, составы. Трудна Сибирь и без того, но с морозом — каторга! Дни шли за днями, моя домашняя жизнь паладилась благодаря Аслану, которого многие теперь знали и ценили за порядочность, за бескорыстие.

В ноябре я получил денешу от наместника и собирался срочно выехать к нему (оказалось, что предстояла мне охота на тигра). На всякий случай я взял с собой в дорогу оружие, попросил у Аслана и кинжал.

— Зачем тебя?

— Надо.

Взволнованный неожиданным выездом, я ничего больше не прибавил. Князь вынул кинжал из-за пазухи, — он носил его на теле, под одеждой, чтобы никто не догадался.

Пробыл я тогда восемь дней на охоте, и возвратился так же неожиданно, как уехал. Издали еще вижу — Аслан на крыльце, ждет.

— Убил? — поспешно спросил он, даже не поздоровавшись.

— Убил, — я подумал, что дело идет о тигре.

— Бэжим, кунак, скорэй! — затаронил он меня и потащил во двор.

— Куда бежать? Зачем?

— Тайга бэжим... далеко. Урядник придет, браслеты наденет... Все приготовил... Ружье есть, патроны,

стрелять будэм... Хорошо стрелял, копчика бил. Охотиться тайга будэм. Кабарга стрелять, мяса много, много... Мускус Китай продавать. Оленья бить будэм, панты много, много... Варить их умэю. Китай носить будэм. Деньга много, много... Кавказ пойдём. Горы... Тебя там спрячу, урядник не найдёт, никто не найдёт.

Возок, вижу, стоит на дворе, к нему привязан тюк и сено; внутри возка — мешки, пожитки, конь запряжён.

— Бэжим скорэй, — торопился Аслан, — изымэ-най много, мука, мясо...

Я понял, захохотал: — Ты думаешь, я человека убил? врага?

— Зачем скоро ехал? Зачем книжал брал?

— На охоту, князь, ездил... Тигра убил. Разбирай везек, бежать не надо.

Примитивный чеченец подумал по моему взволнованному виду и по спешным сборам, что у меня какие-то счеты с недругами и что я, как и он когда-то, отправился в экспедицию против врага... Зная, что меня ожидает потом, князь заготовил все для бегства в тайгу, боясь урядника и наручников для меня, и сам приготовился бежать с кулаком, рискуя своей полусвободой, может быть и жизнью. Смешно было, но как трогательно! Особенно потому, что в первый раз за все время князь выдал свою затаенную мысль, надежду, которой он жил: бежать, увидеть родину, увидеть Кавказ. Об этом он, значит, и думал, этой надеждой только и жил. Составил целый план: узнал (как? от кого?), что такое кабарга. Это — род дикого оленя, у самца которого добывается мускус из половых желез. Мускус идет в Китай, а оттуда по всему миру; платят за него дорого. Этой-то охотой князь и хотел скопить денег для возвращения на Кавказ. А стрелок он, наверное, первоклассный, с детства охотился в горах.

Не забыл князь и «панты». другую таежную специальность, мечту каторжан: есть сорт оленя в тайге более теплой, ближе к Уссури, рога которого, панты, представляют большую ценность для китайцев, как и дженьшень. Убить такого оленя негрудно, но надо уметь приготовить потом рога его так, чтобы они не испортились. Их варят для этого специальным образом в теплой воде при определенной температуре; тогда панты сохраняются годами, не теряя своей чудотворной силы. На них огромный спрос в Китае.

— Тигра убил! — пояснил ему: — Зверь такой есть, большой.

— Кинжал зачем брал?

— На тигра.

— Какая тигра? — не понимает, вижу, тигров на Кавказе нет. Показываю ему хороший рисунок в красках. Князь посмотрел недоверчиво, смерял пальцами рисунок, рассвирепел.

— Кошка. То — маленький кошка! Кошка надо палкой! Не кинжал! — и выйдя из себя от негодования, он схватил кинжал, и... тут я увидел тигра, да настоящего, хоть кавказского. Кинжал надо вот! — князь сжался, сделал прыжок в сторону, выпрямился во весь рост. и кинжал, как молния, сверкнул серебром в воздухе.

Лицо Аслана перекопилось, зубы оскалены, глаза сверкают, и такая злость и ненависть во всем, как будто перед ним сам урядник, злейший враг... Таким ударом, сверху вниз, он должен был пронзить человека насквозь.

Я оторопел от быстроты прыжка, от силы взмаха... Князь сконфузился, спрятал кинжал на грудь и скрылся на кухне.

— «А все-таки», подумал я, «он готов был пойти со мной, пойти добровольно на все, что могло нам угро-

жать в тайге». И часто потом я задумывался о странной несправедливости так называемого культурного человечества и о примитивной логике герца. Какие-то люди, часто полупочтенные, объявляют войну соседям, неизвестно, собственно, за что, и отправляют других убивать и себя обрекать на убой! За эти убийства хвалят, награждают, превозносят, убийства оправданы и требуются законом. Затем, вдруг — поворот! Те же люди объявляют мир и тот же закон запрещает убийства и карает за них. И это — нормально, признано культурными народами... А на Кавказе, на Корсике! Там законы — вековые, установленные предками, поколениями. Некоторые племена и роды ведут войны между собой столетиями, и эти распри увековечены отцами, прадедами. Если там по кровной мести и убивают, то не ждут ни наград, ни похвал: это долг, обязанность каждого честного человека перед его предками, перед всем народом. Но пришли туда другие люди, культурные, с законами меняющимися, как перчатки, и стали они сажать в тюрьму и ссылать людей за то, к чему их обязывала честь, долг перед родными, перед предками! Кровная месть — варварство, но война культурных народов разве не преступней? При кровной мести, войне постоянной, но гуманной (она не грозит ни женищинам ни детям), войны современные, всеуничтожающие, были бы, собственно, невозможны.

Я смотрел на Аслана уже не как на несчастного, — преступником я его никогда не считал, — а как на человека долга, чести.

VIII

Праздники Рождества были в тот год неудачны. Морозы стояли крепкие, но без снега: ни на колесах, ни

на саях не прсехать; ветер сшибал с ног, никакая дѣха не спасала. Езда была возможна только по рекам, где санные дороги тержались неплохо, хотя лед был изрезан полозьями, перемешан с песком, с конским навозом.

Пришлось мне выехать на линию, верст за сто от Благовещенска; выехал я на своем коне с казенной пристяжной: другой инженер сопровождал меня на своей паре. Доехали неплохо, провели на линии сутки, утром следующего дня тронулись обратно. А за ночь выпал снег, не переставал он идти и утром. Глаза у князя — как у кошки: он даже ночью видел, но свежий снег заровнял все. Ехали мы по Зее, бурной, мощной реке, впадающей в Амур у Благовещенска. Дорога по реке спасла в тех местах, где ловят рыбу. Там прорубают широкие отверстия во льду, отдушины; через них, от одной к другой, протягивают сети, — рыба там замечательная! Проруби затягиваются льдом быстро; их полагается обставлять вешками, — они опасны, легко можно провалиться, пока слой свежего в них льда еще не окреп.

Проехали мы три четверти дороги, миновали уже большую станицу, последнюю перед Благовещенском, как вдруг, на хорошей ровной рыси, наш коренник с пристяжной — оба исчезают: лед провалился! Одна оглобля надломилась, другая выдержала, приподняла зад сзади: те на секунду задержались на льду.

Мы с Асланом успели выскочить и, почти в тот же момент, лед сдал, возок соскочнул и — под лед! Я остолбенел... У края полыньи, вижу, ноги лошади: передними копытами она уцепилась за лед, напрягла все силы, даже дуга вышла из воды. Наш конь!

— Коня, моя коня! — и князь, как был, в полушубке, в дохе, бросился в воду, на шею коню.

— С ума ты сошел, Аслан! — Я кинулся к нему на помощь с другой стороны пельныни. А он успел обнажить кинжал, одной рукой уцепился за гриву лошади, сам — в воде, другой рукой перерезал гужи, постромки. Но это было лишь мгновение! Сила течения и вес саблей и пристяжки одолели мощь лошади, — ее голова запрокинулась, одна нога соскочила в воду и лишь одним копытом, только на секунду, конь задержался на льду, цепляясь за жизнь.

Голова Аслана скрылась под водой: он не выпускал шен своего коня, одной рукой удерживаясь за лед, и в руке — обнаженный кинжал Имама с надписью «в руке достойнейшего».

И хотел схватить Аслана, помочь ему, но река была сильней: миг, и копыто лошади и рука с кинжалом скрылись .. На поверхности воды — обломки льда и клоки сена из возка. Я стоял над прорубью, как оглушенный молнией: с такой быстротой, так неожиданно все произошло!

Подъехала вторая пара; седоки вылезли, смотрели, раздумывали, что делать. Но делать было нечего. Усилия были бы беспредельны. Река глубокая, течение быстрое, лед толстый. Рубить... но чем? Искать... Да где искать? Амур и Зейя своих жертв не возвращают, выносят их со льдом лишь весной на свободу моря.

Мне дали место, потеснились; я снял на минуту шапку, постоял молча. Опечаленные, миновали мы предательскую прорубь, могилу князя...

Перед лицом Аллаха Аслан-Бек предстал на коне, в вооружении, как должен всякий правоверный, — я со священным кинжалом Имама в руке.

ОХОТА НА ТИГРА

I

Вы, господа, улыбаетесь: какие же тигры в Сибири, думаете? — продолжал инженер вечером того же дня на палубе «La Marsa»: — Самые настоящие, дорогие мои, и не какие-нибудь, а те, которых в зверинцах называют «королевскими», вот какие! Когда-то и я думал, смотря в 1908 году у Гагенбека в Гамбурге на этих могучих зверей, что их привозят в Европу из Индии, с Цейлона. Лишь позже, в Сибири, я узнал, что все лучшие экземпляры, оказывается, от нас, из Уссурийского края. В Гамбурге от них родится новое поколение, способное переносить неволю, годное для дрессировки, для цирков: дикие же тигры, рожденные на свободе (за них Гагенбек уплачивал огромные деньги), ни для цирков, ни для дрессировки не годятся.

Тигры есть, вонятно, и в Индии, и в Бенгалии, и на Цейлоне, — там я не был, на тамошних тигров не охотился. Могу только сказать, что они поменьше наших. Шкура и шерсть у них похуже и большой ценности для ширка тигры эти не представляют. В Индии их истребляют жители, спасая скот и детей, да магараджи устраивают на них охоты и облавы, приглашая на это развлечение знатных путешественников. Вы помните, наверное, старого Клемансо, восьмидесяти с лишним лет, после его провала на выборах в президенты республики, с оперированной простатой, но с вилкой в руке и

на спине слона? И у ног слона — тигр, убитый «Тигром»! Эта скандальная, на мой взгляд, фотография обошла весь свет, появилась во многих иллюстрированных журналах.

Почему бенгальские тигры не представляют ценности? Да потому что там, в Индии, жарко, мух и паразитов много, зверь по джунглям спасается, в берлогах да по болотам отсиживается, а мухи, комары и прочие паразиты жалият его, шкуру ему портят, а шерсть и без того в жарком климате растет плохо. Вот почему тигры индийские, хоть и кровожадны, но красоты в них никакой! Тело — плоское, худощавое, подубелозное, шерсть клоками, раскраска тусклая. Какое там величие или красота, одна реклама да прежняя слава! Возможно, что когда-то, — скажем, век, другой назад, — они там были и лучше; теперь же магараджи даже подкармливают тигров, чуть не вычесывают их, чтобы красоте на них навести перед охотой, не осрамиться перед знатными приглашенными. Некий корреспондент утверждал, что тигр, убитый Клемансо, был специально откормлен, почти ручной, и выпустили его из клетки в пятидесяти метрах от неудачного кандидата в президенты Французской республики.

Не то — у нас в Сибири... Там, в Уссурийском крае, их, говорят, не так много, зато каких! Всегда ли они жили там, или только забежали из Индии, спасаясь от магараджей, я не знаю, но экземпляры этого редкостного зверя там — красоты и силы исключительной, особенно зимой. Природа, как вы знаете, награждает хитчиков на зиму теплой, пушистой шубой; зимой — ни мух, ни комаров, ни мошек: шерсть — длинная, блестящая. Способность почти всех животных к камуфляжу известна, — природа и раскрашивает шерсть тигров полосами, как на войне, чтобы противник не приметил:

одни полосы ярко белые, под цвет окружающего снега, другие — коричневые, чтобы укрыться между стволами деревьев. В Сибири тигры должны питаться охотой на других зверей и диких животных: деревень там мало, нет ни собак, ни домашней птицы, как в Индии. Поэтому-то наши уссурийские и амурские тигры так сильны и достигают огромных размеров: шкуры их бывают потрясающие, когда они хорошо выделаны.

В России истари еще, как вы, может быть, знаете, пушнина была одним из главных богатств, гордостью страны, — меха в старое время носили у нас все, хватались ими, понимали в них толк. Цари награждали соболями, бобрами, меховыми шубами с своего плеча за самые высокие заслуги. Песцы, кунницы, лисицы чернобурые переходили из поколения в поколение. На первое московское посольство в Европу (в XVI столетии) съезжались отовсюду смотреть. Да и было на что полюбоваться: меховые мантии из соболей, подбитые горностаем, бобровые шапки на главных боярах и думных дьяках по аршину высоты, рукава меховые — в три аршина!

Теперь — не то, мехами завладели женщины, оставили мужчинам лишь отбросы! Дамские моды, женские вкусы изменили и приготовление мехов, способ их выделки, самое их назначение. Глядите теперь на шкурки соболей, визонов, чернобурых лис, трогайте их рукой — не узнать зверя: шерсть нежная, шелковистая, ласкающая. В действительности же даже у соболей — волос жестковатый, упругий: подуйте на мех — внутри пух густой, мягкий, а все вместе красота, тепло, прочность!

Русская обработка, особенно в старину, и сохраняла меха почти в их натуральном виде, едва различимы от

живого зверя. Париж и Лейпциг, а за ними и весь мировой меховой рынок, стали обрабатывать иначе. Кожу соскребавают теперь с внутренней стороны так, что остается лишь тонкая пленка, в которой волос еле держится; зато мех становится легким, шкурка — мягкой. Ее растягивают затем, да так, что она увеличивается чуть не вдвое, мех вычесывают, выбирают весь лишний мелкий волос. Растянутую шкуру дорогих мехов, — шиншилей, соболей, визионов, горноста, вплоть до хорошего каракуля, — разрезают на сотни, тысячи полосок и полоски эти сшивают, подбирая рисунки, оттенки; на это есть специалисты-артисты! Мех подкуривают, подкрашивают, выпаривают, а если нужно — и подвивают.

Вот вам и предлагают, в Париже, Лондоне или Нью-Йорке, мех чудесный, легкий, шелковистый, но такой, что сам убитый владелец не узнал бы своей шкуры. Красота эта, однако, дается не даром, обработка эта имеет и отрицательные стороны: выскобленная кожа не может держать шерсть прочно. Один-другой сезон — от красивого меха мало что и останется; начинаются тогда поправки, перекройки, переделки, и все довольны: и меховщики и специалисты, не в претензии и сами клиенты, первая забота которых — не отстать от моды. Лишь тот не всегда доволен, кто оплачивает причуды портных да законодателей дамских мод!

Русские старинные меха держались великолепно. У моего отца была бобровая шапка от прадеда. — мех был как новый, волоса не вытаскишь. Правда, шапка была тяжеловата...

Не так давно был я, господа, в Варшаве. Некий антиквар предложил мне там, между прочим, меховую полость шестнадцатого века с саней князя Сапеги или

Сапгушки, точно не помню. По документам, которые антиквар показал, полостью этой были покрыты ноги Марины Мнишек, когда она отправилась в Москву на царство с Лжедмитрием. мех — красота! Шестнадцать чернобурых лисиц большого размера сшиты вместе. Волос — как вороново крыло, каждый с сединой на кончике. Лисицы — матерые, северные; шерсть густая; придавишь — до кожи не достать. Отлив с синевой, блеск — и не говорите! На свету — зверь как живой!.. А меху третий век.

Залюбовался я, хочется купить, но головы у лисиц отрезаны и хвостов нет, — мешали, видимо, сделать полетнице для полости, а может быть, тогда их и не ценили. Хвосты, думаю в Париже подберем, а пришить не штука. С головами, понятно, было бы нарядней, да где их найти? такого-то цвета, такой величины? Обойдемся, думаю, и без голов. — хотел преподнести жене длинное манто. Пригласил для верности знакомого варшавского меховщика. Ахнул тот от красоты шкур, в жизни не видывал подобных лисиц. Отперол подкладку, качает головой: «Ничего, пане, пальзя сделать!» Кожа оказалась такой толщины и так тверда, что никуда, как на сани или для музея, мех этот уже не годился. Таких чернобурых лисиц я больше не видел, а видел их не мало.

В прошлом году приезжаю в Финляндию, в Гельсингфорс, — глазам не верю: все финки, да, все без исключения, с чернобурыми лисицами! «Откуда», спрашиваю. «Болезнь у вас такая?» Оказалось, мода на лисиц так велика в Финляндии, что ни одна уважающая себя финка без меха на шее не хотела показаться.

Завели эту моду, понятно, общества разведения чернобурых лисиц, — народилось таких обществ в Фин-

ляндии тогда уйма. Появились они и во Франции, набросились и здесь на разведение этих зверей, да неудачно. И за решетку посадили не лисиц-производителей, а самих учредителей, — многие из них оказались жуликоваты, да и климат Франции (кроме Альпийских гор) для этой культуры не подходит. В Швеции же и в Финляндии, как я после увидел, эта промышленность приняла крупные размеры.

В Канаде, я слышал, дело поставлено еще лучше: там удалось так акклиматизировать чернобурых лисиц и так приучить их к полувольной, ограниченной площадью завода (правда, иногда огромной), что звери эти размножаются как кошки, становятся ручными. Оттуда, из Канады, и рассылают производителей по всему свету. Раз пришлось мне даже путешествовать на авиопое с двумя парами молодых: прибыли они на клипсере из Нью-Йорка, сидя в клетках. Это были чернобурые лисенцы из Канады для одного общества в Финляндии! Там, так же, как и в Швеции, дело пошло столь успешно, что за тысячу марок в Гельсингфорсе можно было уже иметь лисицу хорошего размера, пушистую, седую, с большим хвостом. Но на своего прадеда или прабабушку с полосы Марины Мнишек она, понятно, мало походила, так же, скажем, как бенгальский тигр — на нашего уссурийского тигра, действительно короля тигров!

II

Что касается вообще охоты, то я должен вам сказать, господа, что зверей и дичь видел я с детства. Вырос в деревне в Брянском уезде. Другого там, гляди, ничего и нет: леса, болота, дичь да тощий суглинок. К уткам, вальдшнепам, бекасам я так привык с детства, что и

внимания на них не обращал; мальчишкой ловил только перепелов, да из рогатки пугал воробьев, галок, грачей. А куропатки бегали всюду, и от зайцев да еще беляков зимой отбою не было. И не мы на них — они на нас охотились. Две зимы подряд уничтожали они посаженные моим отцом молодые деревья в фруктовом саду, деревьев по пятьсот каждую зиму, хотя стволы и обвязывались жгутами из соломы и не столько от морозов, сколько именно от зайцев. Зайдешь, бывало, зимой в сад, засыпанный снегом: хитрая бесня сидит на задних лапках перед молодым деревцем, а передними лапами и зубами жгуты разматывает. Как доберется до коры, съест ее кругом — деревцу и канут!

Охотников у нас в семье не было, хотя стрелять все умели, но ни отец, ни братья, ни я не видели ни малейшего удовольствия взять ружье и уложить зря какую-то дикую утку или бекаса, которые никакого вреда не делают, скорей наоборот: копаются в грязи, мух, комаров едят, голосастиков уничтожают. Не стреляли у нас даже зайцев, иногда — лишь пугали их или травили собаками. В деревне же, из крестьян, охотник у нас был только Федька Ермаков, мужик пропавший, каким его все и считали. У него одного из всей деревни было ружье и он часто исчезал, уходя на охоту. Ругала его за это жена, ругали родные, но страсть сильнее! Возвращался он иногда и пьяный, часто битый, но дичь приносил, а зимой и зайцев, хотя крестьяне не ели их, как не ели ни голубей, ни линушек (даже у нас, за барским столом, подавали лишь заячье спинку да лопатки, остальное считалось почему-то несъедобным).

Что же касается меня, то еще сизмальства самой интересной охоте я предпочитал рыбную ловлю во всех ее видах. Тут я чего-то стоил, особенно — нырять у торфяных берегов нашей речки, притока Десны, ловить

руками раков, налимов или окуней под мельницей или брать их волосяной петлей из конского хвоста. Ловил я и на крючок, иногда — щук на живца да фунгов так на десять! А раз взял щуку и в пятнадцать фунтов — старую, престарую, поросшую не синие мохом...

Подловил как-то раз, — да здорово, не сорвался! — и моего старшего брата! Сидели мы с удочками по берегу, плотву и пескарей таскали. Клевало сильно, и вот в азаре, спеша закинуть лесу, слышу вдруг отчаянный крик: «Ай, ай!» Крючок мой, чувствую, за что-то зацепился. И дернул — брат зовит не своим голосом. За ухо держитесь. Мой крючок, оказалось, его и зацепил и, когда я дернул, притянул ему ухо, да так, что нельзя вытащить!.. Кровь течет, брат плачет, у меня тоже слезы. Оба мы несемся в отчаянии к маме, брат впереди, держится за ухо, я за ним, с удочкой в руке, а брат — на лесу! Нелегко было матери вытащить предательский крючок и успокоить брата, который долго мне этого не забывал, да и к рыбной ловле потерял охоту.

Ловил я рыбу и взрослым. Лучшее всего ловилось в дельте Волги, поближе Астрахани. Крючки там были тогда самодельные, из булавки или из кусочка прердой проволоки, сделанные кое-как. — но рыба там неприхотлива. Приманку посадишь, все равно какую, забресишь — и тащи сазана фунта на три, на пять. Такое богатство там рыбы!

Калмыки, да и русские, ловят там сомов на лягушку. Сядешь в лодку, выплываешь на глубокое место и пускаешься по течению, а на хорошей бечевке сбоку живая лягушка. Спутник-калмык ловит хлопает особой деревянной ложкой по воде, делая звук, похожий на кваканье: «Ква-ква!» Сомы слышат этот звук далеко в воде, спешат к лодке; какой-нибудь из них с налета и

протолстит лягушку на бечевке. Вытащить его уже не шука, а сом — фунтов в десять. Одна такая квакунья на моих глазах три раза проделала путешествие туда и обратно в три разных сомовых желудка, и два раза калмык успевал вытаскивать ее живой, убивая сомов, но в третий раз — сом ли заупрямился или лягушка так ему понравилась — удалось вытащить только бечевку.

Жадность сомов удивительна! Плыдем дальше, приваляли новую лягушку, калмык квакает ложкой, толстая усатая морда сама тянется к квакунье. Та — в испуге, сильным движением лан быстро отталкивается, думает найти спасенье около лодки. Сом ухватил ее за ланы, но проглотить не смог: сжал челюсти, дерзент. Подтягиваем за бечевку — сом не разжимает рта. Так и вытащили мы злодея, да огромного: погубила его собственная жадность. И чем сом жирнее, тем жадней: как старый русский купчина — нажился, разжирел, чуть не ломается от жира, а ему все мало!

Вы спросите: наверное, откуда в России такая масса рыбы?

Главное русское несчастье, дорогие мои, насгожащая божеская несправедливость, это то, что Россия не имеет костьяка, то есть горного хребта, поставленного как следовало бы. Есть Валдашская возвышенность, есть кое-какие небольшие горки и холмы да Уральский хребет далеко на Востоке: вся же Европейская Россия, собственно, один огромный таз, куда вливается неисчислимое количество влаги в виде дождей и снега. Осенью дожди идут в России два месяца, почти не переставая, почва размягчается, разбухает. И вдруг — морозы: влага замерзает, расширяется, рвет камни, выпучивает сваи мостов, разрушает дороги. За зиму выпадает снег глубиной в метр-полтора, он крепко слеживается;

затем наступает весна спорая, горячая, как и все в России, где природа не знает пределов, где и люди так сложились: порывистые, сильные, границ не знают ничему!

Весной снег тает быстро, разом, но почва еще мерзлая, пропитанная осенними дождями; она и оттаивает, но впитать в себя больше ничего не может, а избытки воды ищут выхода. Все вокруг, поэтому, меняется: овраги и балки становятся ручьями, речки — потоками, реки и озера чуть не морями. Весной Россия утопает в воде, так как воде нет стока, нет разницы высот. На три тысячи триста пятьдесят километров пробега Волги разница уровней ее лишь двести пятьдесят метров!

Сосчитайте сами, каков уклон: около одной пятнадцатитысячной, то есть в десять раз меньше нормального. Скорость воды и получается ничтожная из-за недостаточного падения. Поэтому-то все реки в России тихие; такими они и воспеты нашими поэтами и народной поэзией. Отсюда «Тихий Дон», такой дорогой казакам и каждому русскому сердцу, и матушка Волга, кормилица земли русской, широкая, спокойная, но страшно медленная. Да и «чудный Днепр» быстр и бурлив только на порогах, по всей же остальной длине он «тихо и плавно мчит полные воды свои» в море. А сонная Ока! Все наши водные артерии справляются со своей задачей плохо, так плохо, что в течение шести-восьми недель весны Россия непроезда, поля — как губка. Где там пахать — ног не вытащишь!

Какие затруднения от этого для техники и для государственного кармана! В Европе удивляются отсталости России и постоянно укоряют нас: дорог, де, у нас нет, на Волге от Нижнего всего три моста на тысячу с лишним верст. Это так, а примите во внимание трудности построек, когда на тысячу и больше километров ни

камешка даже для бугровой кладки, не только строительного камня. Из чего строить? как? Ни один наш железнодеревянный мост без кессонов не обходится, и то, пройдя вглубь метров двадцать (предельной для рабочего глубины), до скалы обычно не доходят; все наши большие мосты, даже огромные волжские, стоят на песке, да еще на плавучем.

Не успевая опорожнить невероятного излишка воды и не имея крепкого русла, реки наши поднимаются весной на десять, двадцать метров, разливаются, выходят из берегов, заливают все вокруг и сами разбиваются, когда вода спадет, на много рукавов и протоков. Вода несет массу песка и глины, размывая все, что может, и по дороге откладывает грунт и ил, образует острова, наносы.

Дельта Волги имеет, поэтому, сотни протоков и рукавов, всегда изменчивых, неверных, и огромнейшая площадь земли перед Каспийским морем споконвеку являлась царством рыбы, дичи болотной да... комаров и мошек. Рыба там водится в количествах неисчислимых, от самых лучших сортов до самой простой астраханской селедки, которой кормится зимой чуть не половина России.

Должен вам сказать, что когда-то волжская дельта, та и вся левая сторона Волги, начиная от Саратова, была населена и процветала. В те времена леса по Волге и Каме были целы, задерживали влагу, и Волга имела другой характер, чем теперь, когда все приволжские губернии обезлесили и астраханская степь покрывалась переносными песками.

Там-то вод. на низовьях Волги, ловил я рыбу и с бакланами; эта ловля специальность приволжских киргизов, жалких остатков великих монголов. Занятого в

этой ловле немного, поучительна она лишь с точки зрения социальной морали. Отдельный индивидуум, как любят говорить теперь, не работая сам, эксплуатирует другого и, оставляя голодным работающего, вырывает у него изо рта кусок хлеба (или в данном случае — рыбы) и ест сам.

Киргиз — на лодке; с ним пара бакланов на привязи. Отплыв от берегов, он отвязывает одного баклана, надевает ему кольцо на шею и бросает вверх. Тот взвивается, делает несколько кругов в воздухе и, голодный, бросается камнем в воду, стремным клювом вперед, и исчезает в глубине. Вынырнет, в клюве у него хорошая большая рыба. Глотать со сжатой шеей он не может, почему взлетает и садится на лодку, чтобы постараться зашпихнуть добычу в свои необъятный зоб. Но его хозяин тут как тут: рыбу — в корзинку, голодного работника на отдых, на привязь, а другого баклана — за работу! В конце ловли получают кое-что и они, рыбешку нехуже, обеды с барского стола.

Однако, что же это! Хотел я об охоте рассказать, а еще на королевского тигра, и о том, как эта зверь блестящую карьеру мне испортила, а сам на рыбу да на бакланов съехал? Возвращаюсь к охоте.

III

Охотиться мне, господа, приходилось и на лесную и на болотную дичь, — не всегда же от охоты можно уклониться. Ездил я и на тягу, но всего один раз, — дал себе зарок никогда больше этим не заниматься.

Случилось это так. Приехал к нам как-то мой двоюродный брат, офицер, страстный охотник, и پرسил кого-нибудь из нас, трех братьев, отправиться с ним на

ягу на вальдинчов. Выпало мне. Ехать надо было верст пятнадцать за Десну, по пескам, болотам, лесам. Комары и мошка жгли нас немилосердно, овода безжалостно кусали лошадей, мокрец не давал покоя... Наконец, доехали. Выбрал мой спутник места, предупредил меня стоять неподвижно, укрывшись: птица сторожкая, можно и перелет испортить.

Стою, не шелохнусь, ружье в руках, курки на выводе, чтобы прижаться и бить в лет... а комары, гнус, мошка да еще какая-то болотная нечисть только, казалось, и ждали, чтобы буфет к ним приехал, — как назваться на меня! Извят в уши, в нос, в щею. Про руки и говорить нечего, даже в ноги жалит, не помогает и толстое сукно... Что, думаю, делать? Пока птиц настреляю, самого живьем съедят! Спустил курок, одной рукой придерживаю ружье, другой обороняюсь, давясь, отгоняю веткой, уничтожаю сотни, тысячи, — и им на смену новые полчища. Обвязал я щею платком, другой — на голову, под фуражку, конец платка опустился на лицо. Да где там: мошка пролезает всюду, комар пробирается и через платок! А тут, им на подмогу, оводы выбросились и сленни... Не знаю, есть ли во Франции эта галость? Это те же оводы, но покрупнее и безжалостнее. Овод, перед тем как ужалить, садится на вас или на скотину и выбирает место, где бы ужалить поудобнее, как будто раздумывает, — от него можно уснуть, отмахнуться; сленни же, как бешеные, летят с открытой пастью, с жалом наготове, бьют с налета. Не успеете и подумать о защите, как вы укушены.

Прогневали, вероятно, Создателя наши праотцы, что Он наградил Россию одной из египетских казней, да не на время, как при Моисее, а навсегда! Такого обилия комаров, оводов и мошкар, как в России, нет ни в какой другой стране. Даже в лучших по климату русских гу-

берниях вы можете видеть знакомую всем картинку: река или пруд, коровы, лошади, свиньи, овцы залезли в воду, спасаясь от нечисти, стоят по ноздри в воде, отдыхая от мучений. — другого спасенья ведь нет! А в полях случается, что самая смиренная коровенка или лошадь, задрав хвост, мчится, как бешеная, куда попало. «Играешь, подлая!» — орет пастух, стараясь огреть ее кнутом. Глупец! Он не видит, что у этой коровы или лошаденки на спине или на шее, в том месте, где летом появились под кожей какие-то шишки, теперь начинают вылезать червяки, прогрызая кожу и причиняя животному ужасную боль. Это — истометство матки-овода, которая весной положила под кожу скотины свои яички. Поэтому-то в России приходилось зачастую бросать кожу с убитой коровы или лошади, — не стоило и отдавать ее в дубление; штук тридцать, сорок сквозных дыр в ней — работа заботливой мамашки и ее достойного семейства!

Мошка появляется обычно перед вечером. — называют ее и «гносом». Кусает она безжалостно, после укуса открывается кровосточивая ранка, она сильно зудит, чешется, и чем больше ее расчесывать, тем зуд становится сильнее. Люди спасаются движениями, сетками, кестрами: скотину же нередко мошкαρα заедает на смерть.

С заходом солнца крупная мошка исчезает, появляется «мокрец», мельчайшее, почти невидимое для глаза насекомое. Вам кажется, что лицо ваше опутала колючая паутина; мокрец набивается вам в волосы, лезет в уши, в нос, в рот...

Ох, господа, сколько повидал я этой гадости в России и в Сибири, до сих пор забыть не могу, а пропле больше четверти века!

Так вот, стою я на тяге, обороняюсь, забыл о наставлениях моего кузена не шуметь, бью себя обеими ладьями по шее, по щекам. Руки — в крови, сам, повернись, как татуированный людоед после обеда. Слышу вдруг легкий свист или шорох в воздухе, — да где там до дичи, до перелета! Мошка забралась в глаза, комары кусают веки, лезут в ноздри, дышать нельзя, еле отбиваюсь.

Опять какой-то шорох, свист и «бух-бух», — мой кузен упражняется в дуэете. «Счастливчик», думаю, «его не едят!» Снова шорох: шр-шр! — совсем близко от меня, и сейчас же — «бух-бух». Но я лежу уже на земле, ружье где-то около, стараюсь укрыться чем можно, — на случай дождя захватил, к счастью, непромокаемый плащ. Канонада продолжалась минут пятнадцать; появился, наконец, и мой кузен, довольный, сияющий. Сумка у него распухла, но не она меня интересовала — «Ты, Тихон, жив? Тебя не съели?» — «Кто?» — «Комары, мошка?» — «Какие комары? Я и не заметил!» А сам весь изъеден, лицо как после оспы, полосы крови от раздавленных наевшихся гадов... Но он доволен, счастлив — тяга была удачная; в азарте охотничьей страсти он и не заметил, что сам отдал, пожалуй, столько же собственной крови, сколько отнял ее у несчастных бальдишников. Три дня потом ставили ему на лицо припарки, терли глицеринным маслом... На тягу я больше не сходил.

Правда, не все охотники так просты и самоотвержены, как мой кузен. Есть характеры и посложнее. Заехал к нам как-то наш сосед Волчанский. Охотник страстный, известен на всю округу, собой красавец. Жена ревнива, не очень-то мужу доверяет, присматривает. Но что поделаешь с его страстью к охоте? От это-

го — ни вылечить, ни отучить. Приходится ей прибегать к уловкам, чтобы охранять семейное счастье: «Что же ты поедешь один, пригласи соседских мальчишек! Им сделаешь приятное и тебе будет веселей». Вместе с ним она к нам и явилась, уговорить когонибудь из нас проехать с ее мужем на торфяное болото. Братьев дома не было, я усиленно готовился к конкурсу, ехать отказался. Жена Волчанского пыталась уговорить мужа пропустить на этот раз охоту, посидеть у нас, да кула там! — «Вы, женщины, не понимаете, что это за удовольствие — охота. За одну хорошую облаву, за удачную тятю я готов отдать весь урожай, год жизни!» — И Волчанский укатил один. «Зачем ты отказался?» — попрекнула меня моя мать немного погодя, — «Волчанский может обидеться да и тебе полезно поворочаться от математики. Побудь с ним, не стреляй, помоги подобрать убитых уток».

Сел я на велосипед, поехал на торфяное болото, довольно далеко от нас. Вот уж лес, мельница видна, болото, а выстрелов не слышно. Собака Волчанского, вижу, копает ямку, кротов ищет. «Хорош пойнтер!» — думаю, — «а еще английский, дорогой!» Слез я с велосипеда, иду по лесу: в кустах лошадь Волчанского и дрожки, но пустые... Там же, свиной ко мне, наш страстный охотник, да не один, сидит обнявшись с нашей мельничихой, красной бабенкой, за которой волочились все, исключая Волчанского, и все без успеха — она казалась неприступной. «Год жизни», думаю, «дороговато, а урожай стоит!» Он был, впрочем, у Волчанского неважный, слишком много хозяин об охоте думал...

Хотел я, уже студентом, и на тетеревей, на куропаток, но, признаюсь, не убил ни одной, да и не стрелял... Злости у меня к ним не было, а убивать без надобности.

из одного удовольствия убить, этого желания я никогда не испытывал, его не понимал, да и сейчас не понимаю. «Не деросли еще», — сказал мне как-то один знакомый охотник. Возможно, что я еще на уровне животных, — те, даже самые злые и свирепые, не убивают, когда они сыты: самый страшный тигр, неев хорошо, никого не тронет. Человек же, даже напившись до отвалу, способен взять ружье и креншть направо и налево для одной лишь забавы — убить!

Могу еще допустить эту страсть у здоровых, молодых, лот как вы оба: стреляйте, если нравися... Да и то, впрочем, не знаю, как вы будете вести себя в Тунисе, ехать на газелей... Нет в мире создания красивее и безобиднее, с глазами, воспетыми на всех языках; охота же на газелей, в глубине пустыни около Габеса и Тозера — излюбленное развлечение французов-чиновников, коммерсантов. Газели легко становятся ручными: в центр европейского квартала в Визерте вы увидите двух: их все знают, многие привосят им напросы (табак их излюбленное лакомство). Думаю, что застрелив когда набудь одну, стрелять другую уже не станете: красоты их глаз забыть нельзя!

Но чего я не понимаю совершенно — это жажда крови у человека слабого, больного, на пороге смерти... Попал я недавно в Монте-Карло, слышу — выстрелы. Над морем, на голубином стрельбище, глубокий, трясушщийся старик — в кресле на колесиках; сзади милосердия езади, а какой-то господин, очевидно секретарь старика, подает ему ружье, помогает приложить приклад к плечу. Шагах в десяти от них — большая клетка с рядом отделений, из которых выпархивают один за другим молодые голуби, чистые как свежий снег, голубоватые, обрадованные неожиданной свободой. Старик, паразитик с трясушщейся головой, наполю-

вину стигивший, одной ногой в гробу, стреляет... Иногда голубь невредимо возвращается к клетке, старается вновь войти в нее. Другие падают, то наповал убитые, то только раненные; собаки подбирают их, подносят старику. Тот радуется каждому удачному выстрелу, а спутники рассыпаются в поздравлениях, хлопают в ладоши. Хищное животное человек!

Охотился я и на медведей и на волков, но об этом расскажу когданибудь особо. — это было в России, не в Сибири. А теперь вернусь к нашим тиграм.

IV

В Благовещенске, за два года моего там пребывания, я не слышал об охоте ни слова: для местных жителей она была лишь ремеслом, они охотились на то, что было выгодно, на что был спрос: ловили и стреляли соболей, куниц, лисен, песцов. Мелочью не интересовались — не стоило тратить ни патронов, ни времени. Случайные среди инженеров тоже не было ни одного любителя-немрода. Забавлялись в карты, беседовали с богом Бахусом; танцевали, кто помоложе, ухаживали за гимназистками и продавщицами. У китайцев же не было и мысли взять ружье и пойти убивать птиц или животных без крайней на то надобности. Словом, среди людей, с которыми я общался, не было даже разговора об охоте как на русской, так и на китайской стороне.

И вот однажды утром курьер докладывает мне, что наш генерал просит к себе по срочному делу. Поднимаюсь в первый этаж, у генерала трое — все в формах: казачий старшина, наш жандармский офицер и чиновник почтово-телеграфной конторы.

— В чем дело? — спрашиваю я у генерала, удивленный такой мобилизацией.

Тот недоволен: — Срочная денеша по казачьему войску от наместника, — и отпустил посланцев.

— Что это означает? — подает мне телеграмму. смотрит поверх очков.

Гласила она приблизительно следующее: «Предлагаю инженеру такому-то быть в пятницу не позднее пяти часов вечера в станице Илювайской. Обратиться к атаману Ерофенчу. Распоряжения даны по казачьему войску для срочного проезда. Наместник Гондатти».

— Абсолютно не знаю! — вижу, что дело идет обо мне, но не понимаю, зачем я вдруг понадобился наместнику? С самого начала лета я не получил от него ни слова, думал, что он и о существовании моем позабыл... И где эта станица?

Ищем на карте — нет ее!

В кабинете генерала один за другим появляются старшие чины дороги: начальник технического отдела, главный врач, жандармский полковник. Последний помог нам:

— Это — станица Уссурийской области, а не Амурской: искать надо на другом листе.

Подошел и помощник генерала, хитрый армянин Тер, — интересуется, как и все, зачем сам наместник меня вызывает? Строят предположения, одно, другое, а наш Пузырь (так мы называли генерала за то, что он для важности часто надувал щеки) допытывает меня:

— Должны же вы знать, в чем дело? Вы с наместником на пароходе летом целый месяц провели. О чемнибудь он с вами говорил? чтонибудь обещал?

— Говорил о многом, но ничего не обещал, да я и не پرسил. Ничего не понимаю!

— Хотите, разъясню? — вступился хитроумный армянин: — Телеграмма откуда? Из Харбина. А где по газетам был наместник? В Мукдене! Значит, он видел-

ся там с уполномоченным китайского правительства. О чем он мог с ним говорить? Вы же знаете, что три года ведутся переговоры о постройке железной дороги Сахальян — Цицикар, но китайцы боятся дать нам концессию, чтобы не повторилась манчжурская история. Линия же эта — заветная мечта наместника. Ему и удалось, очевидно, уговорить китайцев на постройку дороги с автомобильной тягой. Когда китайцы увидят, что опасности нет, мы уложим и рельсовый путь. Поняли господа, где собака зарыта? Мне остается только вас поздравить, — обратился он ко мне. — будете скоро генералом, наместник хочет, вероятно, поручить постройку этой линии вам: вы же единственный специалист по автомобилям. А я к вам в помощники! Амурская-то скоро закончится...

Логика армянина показалась всем правильной: мне же припомнились ряд вопросов наместника еще на переходе о возможности автомобильной тяги для грузового транспорта, о быстроте перехода с грунтовой дороги на рельсовый путь... Замерещилась карьера, да какая! Получить постройку линии в возрасте меньше тридцати лет! Организовать самому огромное предприятие, вести его так, как вам кажется нужным!.. Было от чего закружиться голове, увидеть все в розовом свете.

Наперебой поздравляли меня, просили не забыть и их. — каждый призадумывался уже, куда идти через год, когда закончится постройка Амурской дороги. Новых работ не предвиделось, министр финансов не отпускал кредитов: будущее инженеров-«построечников» было темно, неопределенно.

— Как так? — не выдержал, наконец, наш Пузырь. — эту постройку должен получить я! Закончу Амурскую и, естественно, буду строить и ее продолжение: Сахальян — Цицикар.

— Староваты мы с вами! — подзадаривал его помощник-армявин: — В архив нас сдадут скоро или пригодимся для игры на втором плане... Новых, багенька, выдвигают, молодых: таков закон природы.

— Нет такого закона! Я лет десять могу еще поработать и не хуже его, молодого. А практики у меня куда больше. — обиделся генерал не на шутку.

«Армянин прав», мелькало у меня в голове, «старое заменяется новым. Так было, так будет! Сейчас — моя очередь; время пройдет, меня сменят молодые, а пока — место нам! Надо хвататься да делать дело как можно лучше».

Из казачьего управления передали, что лошади готовы, открытый курьерский лист уже выписан и выезжать надо немедленно, иначе не попасть к пятинице на Иловаискую: восемьсот километров расстояния и дорога трудная.

Мои сборы в дорогу были недолгие: теплая одежда, необходимая провизия, винчестер и браунинг, на всякий случай — и кинжал моего князя-каторжанина. Тот хотел сказать что-то, но не проронил ни слова, передал мне кинжал и пошел открывать дверь. Приехал, оказалось, наш вице-губернатор поздравить меня с назначением.

— Рано, дорогой, ничего определенного еще нет. — говорю я, а самому ой как приятно...

— Как так? Мне передали, что наместник вызывает вас для назначения начальником работ на новую китайскую линию. Значит удалось-таки побить американцев: будут строить не они, а наши инженеры. Очень рад за вас.

— Вы знаете чтонибудь достоверное? Откуда? (А сам, понятно, радуюсь: если из официального источни-

ка, значит, дело в шляпе, предположения нашего хитроумного армянина правильны).

Поговорили — разочарование! Сведения-то его от нас же, наши же сотрудники успели развить по городу.

— Покажите-ка мне денешу наместника. — попросил вице-губернатор: — Странно, — призадумался он. — Станица эта не на пути наместника... Впрочем, это ничего не означает. — он ездит, как ему в голову взбредет. Крюк в тысячу километров иногда ему нипочем. Но с какой стати обращаться к Ерофеичу? Вы его знаете?

— Понятия не имею. Кто это?

— Атаман станицы Иловайской — самый знаменитый охотник во всем крае. К нему наместник отправляет знатных иностранцев на охоту, почет им оказать. Бывает у него и сам. Не захотел ли он и вас почествовать? Он ведь очень вас ценит...

— Хороша честь — восемьсот верст скакать сломя голову и столько же обратно! Нет, скорее наместник хочет поговорить со мной о чем-то, вот и вызывает куда-то на его пути, чтобы не терять времени. Какой я охотник!

— Он, может, и не знает, что вы не охотник. Возможно, и не предполагает, что такие люди существуют, на свой аршин меряет. Вель он-то за хорошую охоту Камчатку отдаст и вторую половину Сахалина. Впрочем, все скоро выяснится, а пока поздравляю с повышением, да с каким!

В бочку меда влил ложку дегтя и скрылся.

Подкатила моя тройка, седой казак на козлах с ямником, два конных — по бокам везка. Вручают мне отбрытый лист — «По Указу Его Императорского Величества», то есть преимущественное право на почтовых

и казачьих лошадей. Под дугой коренного серебряный колокольчик, знак фельдгегера, — в дорогу!

V

Проехали мы не мало степ верст сначала по Амуру, сворачивая только в станицы и деревни для смены лошадей. Дня полтора спустя начали пересекать какие-то пригорки, горы и спустились, наконец, на Уссури.

Тайга зимой не представляет ничего красивого, да и летом хорошего в ней мало. Интересна лишь, пожалуй, «вечная мерзлота» и переход от северной тайги к тайге уссурийской, более теплой, без вечного ледника... Впрочем, вы, может быть, и не знаете, что такое «вечная мерзлота»?

Весь север Европейской России и большая часть Сибири, в общем, существуют только для географов и для статистиков, которые ахают, удивляются огромному количеству квадратных километров и малой относительной населенности России. Площадь Сибири, действительно, огромна, да в грех четвертих-то ее толку пока не было никакого: вся северная часть Сибири почти от Сибирской дороги и от Амура — вечная мерзлота. Представляет она следующее: от поверхности земли на несколько метров и глубже вся почва промерзла и не оттаивает в течение круглого года. Летом, скажем, в августе, поверхность земли слегка отходит, на полметра, иногда и на метр, но глубже идет все та же вечная мерзлота, тот же вечный ледник.

Когда лето пройдет и наступят холода, оттаявший за лето самый верхний слой земли вновь замерзает, начавшийся в нем под влиянием солнца жизненный процесс замирает. В местах, где земля покрыта глубоким слоем

мха, сухих листьев и гнилых деревьев, солнце не успевает даже летом прогреть землю, даже верхний слой не оттаивает: там — вечная мерзлота, начиная уже от поверхности, там все мертво! В местах же, где растительный слой был снят, или сгорел от лесного пожара, — а тайга горит почти непрерывно, — там прогревание идет успешнее, почва оттаивает иногда и до метра в глубину. В таких местах можно сеять и хлеб: он успевает вырасти и созреть, несмотря на лед и вечный холод под его корнями, — так живоительно сибирское солнце. Там же, где тайга не тронута человеком, где вечная мерзлота парализовала силу природы и жизнедеятельное действие тепла, там, на тысячи километров, все покрыто одним лишь безотрадным таежным лесом да мхом. Растет же в тайге лишь замшистая ель, жидкая лиственница, пихта: деревья жалкие, корни их не углубляются в землю — мерзлота мешает, почему они растут лишь по поверхности, под мохом, в неглубоком поверхностном слое оттаивающей летом земли.

Период произрастания в тайге недостаточен — один, два месяца из двенадцати, — почему на тот же рост дереву требуются сотни лет, а не десятки, как там, где нет мерзлоты. Таежный хилый лес стоит непрочен, дерево легко опрокидывается усилием даже одного человека, ветер валит деревья рывками, буря кладет на землю целые площади. Мерзлота не питает их, они умирают от худосочия (отмирание начинается с верхов) и опрокидываются ветром. Иногда умершие деревья, опираясь на своих соседей, долго стоят еще на корнях, но достаточно дотронуться до такого — оно падает, рассыпается в прах.

Тоскливое, жуткое чувство навязывает тайга. Тишина в ней нарушается лишь или обрывным зловещим свистом ветра по вершинам сухостоя: почти нет ни птиц, ни на-

секомах, цветы не растут вовсе. Да вообще в Сибири, даже там, где и нет вечной мерзлоты, цветы своеобразны — они не пахнут! Существует на этот предмет поговорка и, представьте, правильная. «В Сибири птицы не поют, цветы без запаха, женщины без страсти». Тайга, действительно, нема, даже весной и летом: нет в ней ни щебетанья птиц, ни веселого жужжанья пчел. Нет в ней и звуков — тайга безмолвна! Лишь зимой, в очень сильные морозы, слышится выстрелы, точно из пушки... Однажды на рассвете, мы ехали тайгой, вдруг — сильный выстрел. «Что это? Стреляют?» — «Нет! Дерево, лопнуло». Смотрю: огромная сосна, кора ее разорвана почти по всей длине, от земли до верха, она не выдержала расширения от холода влажной древесины, — мороз был около 50-ти градусов по Цельсию.

Мерзлота, худосочие, ветры да страшные морозы губят тайгу; деревья умирают, гниют, все больше загромождают землю и мешают солнцу оттаивать почву. Когданибудь русскому народу придется исполнить гигантскую работу: очистить тайгу, позволить солнцу прогреть землю на большую глубину, чтобы вернуть ее к производительной жизни. Для этого придется сжечь леса, снять растительный слой и мох. Там, где будет оголен у холода какой-то незамерзающий даже в конце зимы слой почвы, там процесс оттаивания будет обеспечен: через несколько десятков лет жизнь там возродится, огромные площади девственной плодородной земли будут отняты от вечной мерзлоты, от смерти.

Должен, господа, признать, что царское правительство никакого внимания на тайгу не обращало, занято было более высокими предметами: политикой европейской мировой... На тайгу и на вечную мерзлоту оно смотрело, как на наказание Божеское: создал так: Всевышний, так

и должно оставаться! Новое правительство думает, видимо, иначе. Кто-то из советских главарей, энергичный, как и все они, даже заявил: «Нет такой земли, которая бы в умелых руках, под властью советов, не послужила на пользу человечеству».

Слова эти не остались пустой фразой: за работу на Севере советские люди принялись. Каковы их планы, каковы их надежды, что успели они осуществить? — мы достоверно не знаем, вообще мы мало осведомлены о том, чего им удалось там достигнуть, — знаем только, что они работают. А поработать есть над чем!

Вы спросите меня, всегда ли существовала тайга и вечная мерзлота? Вопрос этот в мое время не был изучен, мне же всегда казалось, что много сотен лет тому назад картина была другая: площадь Сибирской земли, где люди жили, продуктами которой кормился скот, поднималась на сотни километров выше к северу, захватывая те пространства, над которыми стоит теперь ужасное, безотрадное название: «вечная мерзлота». В те времена там ее не было (жители, кочевники-монголы, выжигали леса, скот сгравливал заросли, съедал травы), — земля тогда жила. Сожгите таежный лес, сведите его, уберите мох, очистите почву: земля за весну и лето прогреется! Успеют ли зимние холода вновь заморозить оттаявший слой, это вопрос широты, долготы, свойства почвы, очертания поверхности. В хорошо укрытых долинах она безусловно согреется и глубина оттаявшего слоя с каждым годом станет увеличиваться. Для хлебопашества же и для скотоводства, даже для произрастания хорошего леса не нужно, чтобы земля оттаяла на всю глубину: два, три метра оттаявшей почвы позволяют уже ей работать производительно.

Так было, вероятно, и до Чингис-Хана, когда тепе-

решняя тайга тайгой еще не была, когда не существовало вечной мерзлоты на огромных пространствах, когда север Сибири был заселен плотнее. Победитель полумира сумел объединить разрозненные монгольские народы и племена, организовал их, вдохнул в них мощь и уверенность в собственной силе, указал путь на юг, на запад и... умертвил Сибирь! Опьяненные военными успехами, соблазненные лучшим климатом, более легкой жизнью, монголы покинули Север! И земли их покрылись травой, кустарниками, зарослями, лесами, буреломом. Деревья стали гнить, умирать, земля оделась в мох, солнце перестало проникать в почву. Появился небольшой прослойка постоянного льда — вечная мерзлота зародилась. Из года в год, мало-помалу, слой этот стал утолщаться, мерзлота захватила север Сибири, появилась тайга, таежный лес, таежные заросли, которые убили траву, насекомых, птиц, убили деревья, убили самую жизнь — вечная мерзлота победила!

Ужасно в тайге и отсутствие влаги: ни подпочвенной, ни почвенной воды. Нет колодезев. Вечный ледник, лед да снег повсюду. Летом, понятно, вода в ручьях, в речках; зимой же они замерзают, остается вода лишь в больших, быстрых реках, а их не так и много. Обычно же для питья приходится растапливать снег, лед. Заметьте, что реки на севере замерзают иначе, чем во всем остальном мире. Мерзлая почва быстрее охлаждает частицы воды на дне рек, чем воздух — на поверхности: лед образуется, поэтому, сначала на дне. Кусочки этого донного льда, по сибирски «шуга», отрываются от дна, всплывают, будучи легче воды, и поднимают на поверхность песок, гальку, камни, крупинки золота.

В начале зимы таежные реки и несут «шугу», а вместе с ней перемещают грунт речного дна, разносят его

по всему течению. Затем уже образуется поверхностный лед, чистый, но, перемешиваясь с шугой, и он грязнится, полон песка, гальки, камней с речного дна.

То там, то здесь в тайге есть все же водяные источники, водяные папывы, по сибирски «наледы» (исчезающие летом). Происхождение папывов, или зимних ключей, объясняется так: когда наступят сильные морозы и верхний слой почвы промерзнет, подпочвенная влага в незамерзшем еще слое сжимается, ищет выхода, выбивается в некоторых местах на поверхность, где сейчас же и замерзает; давление замерзающего слоя по мере промерзания почвы увеличивается, новые количества почвенной и подпочвенной воды выталкиваются, пробиваются сквозь замерзшую воду, пропитывают ее, как губку, и дойдя до верха, замерзают в свою очередь, — это и есть «наледь». Эти валеди, ледяные бугры, пропитанные водой, достигают иногда значительных размеров и нередко бывают окрашены в голубоватый или желтоватый цвет частицами цветной глины, которые вода увлекает за собою из почвы. Зимой наледы «парятся» — над ними стоит туман; температура их воды значительно выше температуры окружающего воздуха. Этой воды остерегаются звери; местные жители называют ее «бешеной водой», считают нездоровой. Действительно, наледы напоминают собой гигантские прыщи или язвы на теле, и вода эта, полужидкая даже при пятидесяти градусах ниже нуля, производит отталкивающее впечатление.

В Уссурийском крае вечной мерзлоты уже нет; несмотря на крепкие морозы, там климат приморский. Природа другая: леса богаче, разнообразнее, появляются хорошие поля, зажиточные станции, здоровые деревья, красивые леса.

Там и дышится вольнее; словно камень с груди у вас

скалится, когда вы покинете, наконец, тайгу с ее вечной мерзлой, тайгу безотрадную, убийственную, молчаливую, бесполезную!

V

Трое суток проехал я, почти не останавливаясь. Обыкновенно в таких путешествиях вы должны просить лошадей на каждой станции. хитрить, давать на-чай. грозить; если удастся перепречь, прождав лишь час-другой, это счастье. По высочайшему же приказу — не то: свежие лошади вырастают как из-под земли, только показавшись «листь». Лишь бы самому успеть передохнуть на станциях, обогреться, поесть! Водка?.. Об алкоголе в большие морозы и не думай. Выпьешь рюмку-другую — пропадешь! Алкоголь отбирает калории, охлаждает организм. Надо, наоборот, горячее, жирное, например пельмени да крепкий чай, кофе.

И так — круглые сутки, днем и ночью... Лежишь в возке, дремлешь, мерзнешь, лишь бы добраться до следующей остановки, обогреться, — да думаешь!

А было мне о чем и подумать. Предположение вице-губернатора о какой-то охоте тревожило меня лишь несколько перегонов. Припомнив разговоры наместника со мной летом, ясно увидел я, что дело не в охоте, что вице-губернатор сболтнул просто из зависти. Да и как было ему не позавидовать? Он сидел на своем месте без малого двенадцать лет, без надежды на повышение, а какой-то молодой инженер, пробыв на Востоке всего два года, выдвигался чуть не в генералы!

Другое дело — соображения хитроумного Тера... В самом деле, иной причины вызова и быть не могло! И я жалел уже, что не успел изучить хотя-бы наслух карты северной Манчжурии, не просмотрел высот на пути

предполагаемой линии, не составил плана работ, схемы организации...

К разговору с наместником надо было подготовиться как к серьезному экзамену. Всю дорогу, днями, ночами старался я предугадать, чем должен был интересоваться наместник и какие вопросы мог мне задать. Какой допустить предельный уклон дороги? Если большой, сократятся расходы, время на постройку, но уменьшится полезная нагрузка грузовиков и увеличится расход на топливо, на износ машин. Если же смягчить уклоны — возрастут расходы на земляные работы, на кладку. Рабочая сила? Китайская? смешанная? Какими задаться перегонами, как организовать депо, мастерские? А переход на рельсовый путь?.. Разбирал я сотни возможностей, проектов, вариантов, все, о чем наместник мог меня спросить.

За этими думами трое суток прошли быстро, — приближалась и Иловайская. Разговаривал я с казаками, ямщиками, расспрашивал их о путешествии наместника, где он теперь находится, скоро ли его скидают. Ответы были неопределенные. Спрашивал и о Ерофеиче.

— Слышали, как-же... Наместник его знает, любит.

— Охотник?

— Понятно, да тут все охотники!

Значит, дело не в охоте... За один перегон до Иловайской обращаюсь вновь к ямщику, пожилому казаку.

— Ерофенча?.. Понятно! Кто же его не знает? Охотник знаменитый, зверя живьем берет. Наместник?.. У Ерофеича бывает, с ним охотится. К нему много больших господ приезжает, даже черномазые из-за границы.

Картина вырисовывалась: на возвратном пути из Китая наместник заедет к Ерофенчу, останется у него для охоты и в свободную минуту будет говорить со мной о новой постройке, — но справедливости только я и был

у него под рукой для такого дела... Ясно — вопрос шел о новой китайской линии автомобильной тяги...

Ждал я, не мог дожидаться станицы Иловайской. Наконец — и она!

VI

Прибыл я, как было указано телеграммой: в три часа дня я въезжал в станицу, большую, богатую, и на полных рысях подкатил к дому станичного старшины, атамана.

Заслышали ли колокольчик, махальный ли был поставлен у станичной околицы, но еще издали я увидел пожилого казака у крыльца дома и человек пять на ступеньках лестницы: меня встречали. Я вылез из возка, здороваюсь.

— А генерал? За вами будет? — обращается ко мне хозяин-старшина.

— Какой генерал? генерал-губернатор? наместник?..

— Нет, не наместник. Генерал такой-то! — называет мою фамилию.

— Такой-то?.. Это я! Но пока — я не генерал.

— Вы будете? — смотрит с удивлением: — Ну что же, нам все равно... Пожалуйте, гостем будете! — ведет меня, прихрамывая, в дом, с большим почтением. — А свита ваша? за вами следом?

— Свита?.. Я один.

— Один? — он остановился, удивленный, но сейчас же поправился: — Что ж? Оно, пожалуй, и лучше.

Разделся я, вхожу. Большая комната, стол — огромный, человек на тридцать — заставлен холодными закусками, окороками, блюдами с рыбой, птицей.

Все зажиточно, широко, богато. На стенах звериные

шкур, головы, рога зверей и такое оружие, что я изумился, стал хвалить.

— Да, ничего, есть неплохие, — спокойно огозвался казак, — больше подарки от охотников.

Да не оружие меня интересовало:

— А наместник?... Приехал или скоро будет? — вид стола меня окончательно убедил, что ждали наместника.

— Наместник? Не знаю. Он не собирался.

На меня как будто потолок обрушился...

— Не собирался?! Извините, не понимаю: он же вызвал меня сюда к пяти часам на сегодня! Не ошибаетесь ли вы?

Показываю ему денешу, полученную в Благовещенске. Атаман прочел внимательно.

— Чего же тут непонятного? Он и мне телеграфировал, что предоставляет зверя вам, — сам приехать не может. Вот мы и принимаем вас, как его самого.

Надежды, радужные предположения — все вдребезги! Прав оказался циник вице-губернатор.

— Большой почет оказал вам наместник, — продолжал старшина, — я и подумал, что вы генерал, да вижу, молоды...

Привел я себя в порядок в приготовленной для меня отличной комнате, но чувствую — энергия моя пропала, ей на смену — усталость от четырех суток безостановочной дороги, стационарной еды второпях, толчков на ухабах а, главное, удар моральный — крушение иллюзий, надежд!

В столовой хозяин-старшина представил мне своих сыновей и стариков-дедов станицы. Женщины за стол не сажались, только прислуживали, хотя одеты были богато, по городскому, почти во все заграничное (в ту пору Владивосток был порто-франко).

Больше двадцати приборов за столом остались пустыми. Во время обеда говорил только старшина: сыновья молчали, деды изредка поддакивали; я же отвечал лишь при крайней необходимости, — так сильно был удивлен непонятным мне теперь человеком — наместником! Напитков за столом не было, — перед охотой, оказалось, не полагается ни вина, ни табаку: для мороза плохо, а для охоты и того хуже, — зверь за версту дух чует! На еде же старшина настаивал — сил набраться: дорога долгая, трудная, да и ночь в лесу — не шутка даже для привычного. Рассказывал он затем про охоту, про жизнь в тайге, про приключения.

Мирозерцание его было просто; люди, по его понятию, состояли из охотников, потом — ничего, еще ничего и затем уже остальные люди, так для чего-то, как какой-то непонятный, почти лишний элемент. Охотников же он разделял на три категории: настоящие — по зверю, затем — промысловые и, наконец, — так, мелкота, т. е. те, которые балуются с дичью, с горными козлами, кабаками и прочей звериной братией. Упомянул и про последнюю свою охоту на медведя: три пули пришлось всадить, так он был живуч.

— Да вы охотник? — Рассказы его не вызывали во мне, видно, того интереса, которого он ожидал.

— Понятно, — отвечаю (не обижать же зря человека, неповинного в моей авантюре): — Не такой, как вы все здесь, но пострелять могу. Со мной и карабин, слона на пятьсот шагов убивает, -- припомнил я уверения продавцов моего винчестера, хоть за два года не сделал из него ни одного выстрела.

— Видел ваш винчестер-то! Такой и у меня есть. Не плох. Автомат, правда, иногда заскакивает, приходится калибровать патроны.

Знал, оказывается, хромой чорт не только эту систему (совсем недавно появившуюся в Европе, в Азии) но и ее недостатки!

— Да вам он не погребуется сегодня, — добавил старшина, — горных козлов да кабанов потом постреляете, а на этот раз ни ружья, ни револьвера брать нельзя. Ножи да кинжалы! Зверь сторожкий, а убивать жалко — хорош больно. Живым взять надо.

— Живым?.. Как же вы охотитесь?

— Как? Вожжей. Веревкой, стало-быть.

— Вы берете медведя веревкой?

— Понятно, когда он того стоит. А не стоит — бьем. Да сегодня мы не на медведя: зверя пойдем брать, что для наместника приготовили. Два месяца выслеживали!

— Какого? — и в мыслях у меня не было, что в Уссурийском крае, вообще в пределах России, есть другие крупные звери, кроме волков и медведей.

— Как какого? Наместник вам не говорил? — уставился на меня старшина: — Тигр, вот зверь-то наш! На него и пойдем.

Чуть не свалился я со стула. Я и не предполагал, что в Сибири водятся тигры, как не предполагали, думаю, и вы. За два года моей жизни в Благовещенске, никто не упомянул о них, может-быть и не подозревал, что они так близко.

— На тигра?.. Взять тигра веревкой?.. И наместник меня прислал для этой ловли?

— Как прислал? — удивился в свою очередь старшина, — вы разве не знали? и не довольны?.. Где же вы увидите такую охоту? Выше ее ничего нет! Оно понятно, она не без опасности: нога-то моя на дюйм укорочена, зверь переломил, а что до царапин... Обоих сыновей тоже здорово помял, а третьего задрал...

Специальностью старшины, оказалось, и была ловля зверей живьем. Охота эта требует большого опыта, выдержки, но она интересна и выгодна: живых зверей немцы покупали очень дорого для питомника в Гамбурге. За хорошего, например, королевского тигра платили от трех до пяти тысяч рублей, тогда как за шкуру убитого — раз в десять меньше. Покупали же их для развода.

Принялось мне поддерживать разговор, интересоваться: «попал», думаю, «в переделку, надо хоть лицо сохранить».

— К нам из Англии два лорда приезжали, немцы из Гамбурга были, Христом Богом просили, только бы посмотреть, а вы: «приехал!» — не успокаивался старшина: — В прошлом году князь индусский, магараджа, что ли, со свитой в двадцать человек из Владивостока приезжал. Этот — охотник! Сам держал конец веревки. Две недели потом у нас пробыл, всю станицу осматривал. Меня во-как наградили! Книжечка с бриллиантами, портрет свой, даже орден дал. А вы жалуете, что из Благовещенска приехали...

Я понимал, господа, что с его точки зрения он прав. Случай поохотиться на тигра был, может быть, единственный в моей жизни, и наместник действительно, оказывал мне большую честь. Да беда была в том, что я-то не охотник! Трусом я не был, смерти не боялся, но чувств охотника, страсти к убийству, к крови я никогда не понимал. — «Хорош же наместник», думал я, еле сдерживаясь, «послать начальника механического отдела ловить веревкой тигра!» Для этого-то я мчался сломя голову восемьсот верст, да столько же придется ехать обратно! И это — самый высокий чин империи, наместник государя! Занимается сам такой глупостью, охотой, и других от дела отрывает? Лорды — чорт с ними! Им

делать нечего, они с жиру бесятся. Магараджи — просто больные самодуры. Но он, помещик? Как может он тратить время на какую-то охоту, простаивая ночи в тайге, как человек каменного века? Это-то и есть его отдых, как он мне, помнится, говорил на пароходе? Охота, значит, его страсть, охота — слабость этого человека, которого я считал таким сильным, безупречным! Ореол помещика стал в моих глазах меркнуть.

Покончив, наконец, с едой, старшина отвел меня в мою комнату отдохнуть часа на два, чтобы потом собираться на охоту.

VIII

После отдыха отправили меня раньше всего в баню с сыновьями старшины, тут же, на дворе. Она была такая же, как и все русские домашние бани: небольшой деревянный дом из толстых бревен с двумя маленькими двойными окнами, прихожая — полухолодная, раздевальная — прохладная, сама баня — жаркая, как преисподняя. Огромная русская печь внутри из камня и кирпича, с дверцами для поддачи пара, с лежанкой, в которую вмазан котел для горячей воды. У другой стены, против печи — парилка в три яруса: на верхнем, под самым потолком, так жарко, дышать нечем! Горячая и холодная вода заготовлены заранее в деревянных бочках, кипятилок — из крапа когла. Лоханки, тазы — деревянные, липовые, веники для парения, запасенные еще с лета, березовые.

Раза два поддали пару, бросив ковшом в печку холодной воды. Горячий влажный пар повалил, оттуда, наполнил верх бани еле выносимым жаром. Один из сыновей

старшины, весь избранный на охотах, оказался моим одволетком, другой — помоложе. Оба женатые, отцы семейств. Расспросил я обоих о их ранах. Зверь, оказалось, помял года два назад младшего, сломав ногу и отцу, а старшего брата зарезал до смерти. То была тигрица, матерая, дьявольски злая. По словам казака, справляться с самцами легче, хотя самец и сильнее. Когда тигр-самец почувствует пелю, он делает изю всех спл прыжок, веря своей силе, что его и губит: петля затягивается и сбивает его с ног; это — момент набросить и другие петли, успеть захватить лапы. Самка же, попав в петлю, бросается на землю, свертывается в клубок, стараясь зубами и лапами освободиться от петли. Не удастся прихватить лапы — беда: зацепишься сам!

— Разве тигр не может перегрызть веревки?

— Может, да не сразу! У тигров зубы клыками, когти истребят какую хочешь, а перегрызть нитку не может, на клыках скользит.

При отце и старших молодые казаки не открывали рта, по завету, который свято сохранялся до революции. На этом завете уважения к старшим и беспрекословного исполнения решениям стариков, дедов и покойлась отчасти сила и прочность исконного казачества.

В отсутствии же отца, сыновья охотно разговаривались, рассказали мне ряд случаев из охотничьей жизни.. Да не их охотничьи истории занимали меня, — мне был интересен самый быт казаков, жизнь, имущественное положение их в Сибири...

— Земли у нас, — пояснял мне старший брат, — порядочно. Одной пшеницы десятины сто снимаем в год. Да овес, да сено, просо и прочее. Лошадей?... Штук сорок, пятьдесят, смотря когда! Иначе у нас и нельзя. Климат здесь такой — и дня не пропусти. Пахать — надо враз взять. смаху. Ни праздников тебе, ни воскре-

сений! По четверке, по шести коней на плуг. Пахотыба у нас глубокая, летом-то засуха, вот и нужно лошадей, побольше, поздоровше.

Услышав, что я механик и знаю моторы, оба расспрашивали меня про тракторы: кто-то около Владивостока, оказался, имел уже один из Америки, и старшина съездил, чтобы ознакомиться с ним. Результат, по их словам, был неважный — механика тонкая, портится часто. А то чего бы лучше! Выгнать несколько дней, по их словам, было чрезвычайно важно: сезон короткий, лето жаркое, сухое, а затем вдруг хлынут тропические дожди. Не успел собрать, увезти — все погнет.

Я думал, что моя баня мытьем и ограничится, да как бы не так. Натерли меня казаки напоследок еще каким-то салом, чтобы отбить запах человека и придать мне, да и им самим, аромат горного козла, на котором в этот раз приманивали тигра. Сало это приготавливали казаки сами, по известному им рецепту. Вытапливается оно не на огне (запах от огня пропадает), а размягчается постепенно в ванне с теплой водой, выскребывается и выдавливается. Этим же салом, запаха не очень сильного, но пререпротивного, вымазали мне всю одежду, белье, валенки... Шубу они дали мне свою, чтобы не портить моей, да моя для охоты и не годилась.

Когда мы оделись, старшина был уже готов: он прошел через баню и «реальную» операцию раньше нас и возился на дворе, тщательно проверяя и сматывая круги веревки.

Веревка эта свита была для него какими-то спешными руками ручным способом из пеньки, волокна которой, одно к одному, проверял он сам, так же как проверял он и само витье. Толщиной с вежку, такая веревка могла выдержать, я думаю, несколько тонн: она была гиб-

жа, мягка и не запутывалась, как продажная, машинного витья.

Две пары хороших лошадей стояли у подъезда с кучером-казаком. Старшина осмотрел еще раз всех и все, проверил и мой кинжал:

— Митюша, наточи! — приказал он сыну.

Кинжал мой понравился атаману: -- Хорошая штука! Откуда у вас такой?

Клинку кинжала, по словам атамана, было века три, выкован старинным способом из дамасской стали: тело его — мягкое, не ломается, режущие же края нарощены особым секретным способом и закалены, как бриллианг, --- хрупки, но режут как бритва. Посмотрел он и на надпись: «Турецкий или кавказский, но первый сорт. Такой не выдаст!»

Выехали мы в ночь. Сначала наши кони бежали быстро, по насаженной санной дороге, часа же через три мы свернули в тайгу, где лошади пошли шагом, обходя поломанные деревья, спускаясь в овраги, в лоцины, то по глубокому снегу, то по замерзшим кочкам, еле прикрытым снежной пеленой. В возке со мной сидел старшина, сыновья его -- на розвальнях, взятых для того, чтобы везти на них добычу. Ехали мы молча: холодно, да и говорить не хотелось, каждый был занят собственными думами. Мороз был крепкий, кругом тишина, лишь шелосья поскрипывали, да иногда фыркали кони.

Ехали мы так почти всю ночь, близко к рассвету оставили в одном овраге лошадей, укрыли их, привязали кормушки и отправились дальше пешком, один за другим, какой-то известной одному старшине тропой, по приметам и засечкам на деревьях. Луны не было, ночь темная, лишь снег слегка отсвечивал и позволял видеть деревья, идущие впереди фигуры...

Через час такого пути начал я приставать... «Ну, и

занятие! Чорт бы побрал и наместника и тигра!» — ворчал я, еле вслоча ноги в полунудовых валенках, проваливаясь между кочками, пнями, утопая в снегу. Вот-вот готов я был сесть, унасть, лечь, лишь бы не итти дальше, отираив в преподнюю и Ерофеича, и сыновеж, и зверя!

Из последних сил иду, тащусь за ними, бреду... Поставишь ногу — провалишься чуть не по колено, другой шаг: думаешь провалиться снова — нет, стоишь на чем-то твердом. Так и ковыляешь. Шуба же моя и доха мешали, цеплялись за кусты, за ветки, а старшина то и дело: «Осторожней!» и все сердитей...

Еще немного и сил моих, чувствую, не хватит. А казаки, с мотками веревок на плечах, идут себе, как проклятые, и идут, с трудом вытаскивая валенки, но даже не остановятся, чтоб передохнуть, шага не сбавляют.

Злость моя, раздражение росли вместе с усталостью. Спустились мы, наконец, в какой-то лог, остановились.

— Здесь! — прошептал старшина: — Устали? — он почувствовал мое безучастное отношение.

— Устал!

— Может, ловить нам оставите?

— Пожалуйста! Ловите сами.

— Оно и лучше. А вы за деревом постоитте, посмотрите.

Провел он меня куда-то в чащу, в снег, указал на развесистое дерево обхвата в два.

— Здесь стойте, только не шелохнитесь, — прошептал он мне в самое ухо, — а мы расставлять пойдем.

Стою я как истукан, ноги по колено в снегу, кинжал под рукой, — ожидаю. Но утомление от долгой дороги, разочарование, отсутствие интереса к этой дикой забаве, все вместе привело меня в такое состояние, что, если бы этот проклятый тигр и в самом деле принял меня

за горного козла, я пальцем, казалось, не пошевелил бы — куда там обороняться! — так велика была моя усталость. Стараюсь все же рассмотреть что-нибудь в потемках или расслышать в таежной зимней тишине. Ничего! Кругом — молчание...

В полудрабыт, прислонившись к дереву, слышу вдруг голос старшины опять над ухом:

— Не ладно так будет. Того гляди еще заснете... Не лучше ли вам влезть на дерево? Покойней будет и нам, да и вы увидите лучше... Он скоро должен идти, рассвет близко.

— На дерево? Мне все равно, лишь бы сечь!

— Там и сядете. Матвей, полезай-ка!

Из темноты вынырнул старший сын атамана, снял шубу, валенки и с мотком веревки взобрался на высокий раздвоенный сук дерева. Подхватил меня Матвей веревкой подмышки, втащил на сук и, ловкий как белка, помог мне усесться на суке между ветвями.

— Не привязать ли? Ногам будет удобней

— Вяжите! Все равно, раз сам ловить не буду.

Уселся я — как в раю. Шуба, шапка, валенки теплы, убаюкивают, а вилка сука — как кресло! И падал тут на меня, представьте, сон, да напал с такой силой, — четыре ночи в дороге да пятая в тайге чего-нибудь ведь стоят, — бороться невозможно! Голова сама клонится вниз, веки слипаются. Открываю глаза шире, таращусь, — мороз жжет как огнем... Задремать в такую минуту, сознаю, глупо, непростительно... «На одну минуточку разве?» — успокаиваю сам себя... и крепко засыпаю, укрывшись воротником и наушниками шапки.

IX

Что видел я во сне, не помню, но что-то заставило меня дернуться, куда-то прыгнуть... Дикий рев резнул мне уши, разбудил меня, чувства мои сразу вернулись... Внизу, в десяти шагах от дерева что-то кружилось в снегу, боролось, кричало, ревели. Темные фигуры падали, вскакивали вновь, снег летел во все стороны. Там шла борьба не на жизнь, а на смерть.

Мое же положение было драматично, смешно! Во сне я высвобождался из вилки и повис на суку, удержанный веревкой. Пытаюсь освободиться, чтобы упасть на землю, — не могу. Не развязать узла веревки: он далек от руки... А внизу рев и крики — громче, борьба — жестокая, движения все быстрее... Различаю три темные фигуры: старшины и сыновей, и тут же в снегу желто-белое тело. Тело это рычало, билось, а казаки, как дикири, прыгали вокруг, кричали, ругались...

Через минуту рев затих, битва кончилась. На дерево взобрался Матвей и в сумерках рассвета я увидел, что лицо его в крови и шуба изодрана. Он развязал веревку, и я, как мешок, полетел на снег. Поднялся, и в ту же минуту старшина ко мне, глаза как молнии, злой как чорт, изорванный, в крови: «Не охотник ты, а ж...!» И сколько ненависти было в этом, сколько презрения!..

Подожел я к месту битвы; на растоптанном, раскиданном вокруг, окровавленном снегу лежал труп тигра. Правая передняя лапа его еще с веревкой, другой конец которой был привязан к дереву; голова зверя откинута назад, пасть раскрыта, белели страшные клыки; кровь лилась из нескольких ножевых ран в боках.

— Испортили зверя, — проговорил около меня Матвей, качая головой, — не зашел в петлю, как следует,

шума испугался... А и силен, другой петли так и не накинули! Пришлось убить.

Пока ходили за лошадьми, охотники сдирали шкуру. Матвей был около меня и, видимо, старался загладить выходку отца.

— Батя осерчал, — успокаивал меня молодой казак, — думает, что вы заснули и с сука упали, зверь и испугался. А, может, вы сами проснулись от рева, тогда и упали?.. С непривычки да с усталости...

Рассветало. Шкура тигра, сложенная как пустой мешок, была жалка, а окровавленная масса ободранного тела, за полчаса до того сильного, грозного зверя, полного жизни, красоты и желания жить, отталкивала меня, угнетала. Атаман же и его сыновья, изорванные, окровавленные, отнявшие только что жизнь у здорового, могучего существа, были мне противны.

Подумайте, господа: отслеживать зверя два месяца, хитрить, узнавать, куда он ходит на водопой, изучать его привычки. затратить столько сил, времени, и все лишь для удовольствия убить его или поймать живым!..

Домой мы возвращались по какой-то другой тропе. В возке со мной ехал теперь Матвей, злобный старшина — в розвальнях, вместе с испорченной шкурой. Сон мой прошел, мороз утром стал еще крепче, тайга — все та же, таинственная, неприветливая, жуткая.

Матвей дремал, он был только поцарапан и в возке безмятежно отдыхал; меня же не покидала мысль — что ответить наместнику? Ответить же было необходимо: он хотел, очевидно, сделать мне удовольствие, почтить меня, но внимание его так не отвечало моей натуре! Составил я в уме короткую лепешу: «Прибыл, присутствовал, благодарю». От этого цезаревского текста так я и не отказался до конца дороги, хотя понимал, что могу

этим обидеть наместника. «И пусть обижается!» — не мог я перебороть себя: охотники казались мне всегда людьми странными, а страсть к уничтожению — оттаивающей!

Спустились мы в долину Уссури, природа резко изменилась. Снега почти не было, виднелись прекрасно обработанные поля, местами чудесные леса: дуб, липа, осокорь, какие-то еще неизвестные мне породы, склоны гор покрыты густыми, мощными рододендронами. На полях чередовались площади убранной пшеницы, кукурузы, чумизы, мака, бобов, табака. Леса в долине Уссури и ее притоков чудовищны: деревья — великаны в тридцать, сорок метров высоты, в объёме два, три метра! Леса так густы, что небо еле просвечивает. В самую сильную жару летом в них сыро, прохладно.

Сама Уссури, река огромная, могучая, берет начало из озера Ханка, к северо-западу от Владивостока и впадает в Амур у города Хабаровска. Горный хребет Дадзянь-шань тянется почти параллельно Уссури и отделяет Уссурийскую область от океана. Хребет этот спасает богатый край от тайфунов. Яблоневые же горы защищают его от таежных сибирских морозов и ветров: вся площадь Уссури и ее притоков по богатству почвы и по климату — одно из наилучших мест Сибири.

Когда-то область эта была заселена народом «удэхе» монгольского племени. Расширяясь на север, китайский народ окитал местное население до такой степени, что европейцу трудно понять, где кончается удэхе, где начинается китаец. В течение же двух последних столетий нажала с запада белая раса: Россия неудержимо стремилась к выходу в незамерзающее море и должна была овладеть Уссурийским краем, чтобы пройти во Владивосток. Поэтому, рядом с деревнями удэхе, расположились

там и китайские, и русские, и казачьи (наподобие сло-
евого пирога), каждая со своими постройками и обыча-
ями; впрочем, удэе почти совершенно окитаились.

В такой окитаенной деревне мы к полудню и остано-
вились — лошадей покормить и самим подкрепиться. Де-
ревня, на мой взгляд, ничем не отличалась от китайских,
и если бы не Матвей, я не узнал бы, что она населена
особым, когда-то значительным народом удэе. В языке
их разобратся трудно, никому из нас это не было под
силу.

Старшину все там, видно, знали, встречали его, как
важного гостя. Говорили наполовину по русски, наполо-
вину по китайски: кое-что понимал и я. Но манеры:
вежливость, улыбки, поклоны — совсем китайские.

Внешний вид деревни — бедный, нет богатства и ког-
да заглянешь внутрь домов, но — людно, много детей, со-
бак, скота. Фанзы целиком китайские: стены глиняные,
крыши двускатные, тростниковые, окна решетчатые, ок-
леенные с одной стороны бумагой. Чувствуется, что у
народа есть стремление к изящному, потребность в ис-
кусстве: то здесь, то там резьба по дереву. В самой
фанзе, по обе стороны двери, низкие печки из камня со
вмазанными в них котлами. Дымовые трубы от печей
идут вдоль стен, под «канами», согревают их. «Каны»
(русские лежанки в старину) сложены из плитнякового
камня и служат для сна. Шириной они в человече-
ский рост и покрыты соломенными циновками. Спят ки-
тайцы, как объяснил мне Матвей, голыми, головой
внутри фанзы, ногами к стене. Посредине фанзы, на
треножнике — старый чугунный котел, наполненный зо-
лой и песком; туда складывают остатки древесного уг-
ля, когда «каны» нагреты. На этом котле разогревают
и пищу, почему стены закопчены выше человеческого
роста, как в русских курных избах.

Нам быстро приготовили поесть, чем были богаты: русское и китайское. Замечательны были кабаны окорока, мягкие, душистые, копченые каким-то особым способом.

Кабанов в Уссурийском краю так много, что, как китайцы мне объяснили, они опустошают целые поля, слущаясь с гор. Борются с ними трудно, ничего кабаны не боятся, действуют скопом, защищая друг друга, — стада же их огромны. Летом кабаны отдыхают днем и кормятся ночью, зимой — наоборот: днем бодрствуют, а на ночь ложатся на отдых. Защитниками китайцев и удачи от кабанов являются русские, казаки, охотники, но главным образом, как это ни странно... тигры, которые кабанями и кормятся! Тигров, по китайски или по удачи — «амба», население чуть не боготворит за это, прощая им и собак и телушек. Тогда только мне стала понятна странная встреча, которую нам устроили кигаича, бабы и пожилые китайцы, увидев шкуру убитого тигра, когда мы въехали в деревню. С какой жалостью, чуть не со слезами глядели они на окровавленную морду зверя. Убили-то их защитника!

Пока лошади кормились, походил я по деревне: кругом — беднота, хотя природа богатейшая, возможности огромные и народ трудолюбивый. Беда их — отдаленность от центров сбыта продуктов и от источников снабжения, а следовательно — дороговизна и недостаток всего, чего нельзя сделать своими руками. Нет стекла, мало одежды, посуды недостает даже глиняной, примитивной. Заинтересовали меня там «тулузы», в которых китайцы хранят бобовое масло, воду, жидкости. Тулуз это корзинка, сплетенная из лозы и обмазанная каким-то составом, похожим на бумагу, но таким прочным, что тулузы не пропускают даже спирта и не бьются. Похожи они на наши низкие большие бутылки с широким гор-

лом. Вместо пробки закрываются кукурузной кочерыжкой, обмотанной тряпкой.

Молодые казаки предлагали мне остаться на денек в китайской деревне пострелять кабанов. Всей деревней о том просили и китайцы, — слава Ерофеича и его сыновей, как исключительных охотников, гремела на весь Уссурийский край, — но мне хотелось лишь скорее уехать, до того охота осточертела!

Сам Ерофеич не терял времени, выбирал и покупал пукурки соболей у местных жителей. Удахе — специалисты по ловле соболей, качество их в Уссурийском крае первоклассное. Охотятся там, как мне рассказывали, корейским способом: «мостами». Перебросив дерево с одного берега небольшой горной речонки на другой, на середине бревна устраивают изгородь, оставив узкий проход, а в нем, в вертикальном положении, укрепляют волосяную петлю, прикрепленную к балке с грузом (обычно — с камнем). Когда соболь хочет перейти с одного берега на другой, он спешит воспользоваться бревном, чтобы не замочить себе лапок и шерсти. Пройти стороной он не может — изгородь мешает, — и находит щелку. Попадает в петлю, затягивается, бьется; палочка падает, груз сваливается и увлекает соболя в реку, где он и сохраняется под водой от других хищников.

С поклонами, улыбками и видимым сожалением провожали нас китайцы-удахе, когда мы покидали гостеприимную фанзу.

По возвращении в станицу, молодые казаки предлагали мне поохотиться на горных козлов, попробовать мой винчестер. Я же думал лишь об одном — подальше от охотничьей среды! Стесняла и неловкость, которая была теперь между старшиною и мной. От всякой платы он

и его сыновья отказались, считая меня гостем наместника; отказались даже от винчестера, который я хотел оставить им на память, и отказ этот еще больше усложнил наши отношения. На прощание старшина все же смягчился и, сожалея об инциденте, просил меня приехать в другой раз поохотиться на медведей. Пожимая мне руку, когда я был уже в возке, он еще раз пребурчал: «Не прогневайтесь!», а сыновья кланялись молча, держа шалки в руках.

Возвращение в Благовещенск было не из приятных: из головы не выходила эта неудачная охота и мой промах, — да была ли в чем моя вина, я и сейчас не знаю. Сожалел я и о своей денежке наместнику, в которой я не изменил ни слова; вспоминался и убитый так напрасно тигр...

Что написал наместнику старшина-казак, я тоже не знаю, но уверен, что он не поспешил на краски, — ответа на мою денежку я от наместника не получил, он, казалось, и о моем существовании позабыл. О возможности же моего назначения начальником постройки вскоре перестали думать.

Месяцев шесть спустя пришлось мне быть в Японии, случилась тогда одна история, назвать ее можно, пожалуй, и страшной... Возвращаясь через Владивосток, встречаю неожиданно моего старого знакомого генерала-атамана амурских казаков.

— Что такое, батенька, вы тут натворили? — был его первый вопрос: — Наместник очень вами недоволен!

Генерал рассказал мне, что, действительно, постройка линии Сахалин — Цицикар — Мукден была в то время решена, и все было уже согласовано: китайское правительство настояло на китайской рабочей силе, но согласилось на русский технический персонал, и на-

местник выставил именно мою кандидатуру в начальники работ на новой линии, хотя китайцы выдвигали одного американского инженера. И вдруг наместник почему-то, неожиданно для всех, отказался от своего требования и согласился с назначением американца... Я рассказал тогда генералу о моей неудачной охоте на тигра.

— Как же вы, батенька, так опростоволосились? За такую охоту я бы три года жизни отдал! Умирать скоро буду, а на тигра сходить так и не пришлось. А вы — недовольны! Ай-ай-ай!

Атаман дружески корил меня, а в глазах его, в глазах охотника, светился упрек, порицание.

— Теперь я понимаю, — добавил он, — почему наместник ответил кому-то из приближенных, почему он снимает вашу кандидатуру: «Молод очень, людей, жизни не знает». Затронули вы, батенька, его охотничью страсть, любовь его затронули. А это, милый, не прощается. Кстати, знаете, Ерофеич недели две назад Богу душу отдал: сорок пятый тигр загрыз его, старшего сына тяжело ранил, сам — ушел... А жаль Ерофеича, охотник был знаменитый!

СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ

I

— Как спали, господа вояки? — улыбался инженер, выйдя утром на палубу, — его молодые соотечественники лежали в креслах, лицом к морю.

Час был ранний, на палубе — пусто, лишь какая-то высокая худощавая дама, в накинутом на пикаму непромокаемом пальто и с хлыстом в руке, прогуливала огромною сан-бернара. Красивый, но неуклюжий пес прыгал, носился взад и вперед, лаял, визжал от радости; со всего размаха бросался он на худую даму, чуть не сбивал ее с ног. Матрос в синей блузе и в сабо на босу ногу мыл шваброй тековую палубу, поливал ее из пожарных кранов; он весело отмахивался, когда сан-бернар налетал и на него.

— Не очень качало? — инженер поздоровался с офицерами и стал раскладывать свое кресло.

— Нисколько! Я и не заметил, — ответил политехник, — спал, как убитый. Забыл даже, что нахожусь на пароходе и скоро буду в Африке. Признаюсь все же, видел во сне Сибирь, спускался в какую-то голубую пропасть, где росли деревья-великаны и еще что-то, но что — не помню.

— Хорошо, молодой человек, что золото не приснилось, — засмеялся инженер, — примета не добрая... Ну, не видна еще наша Африка? Прежде всего мы должны увидеть на горизонте длинную полосу песка:

гер на побережии нет. А еще раньше — почувствуем запах африканской земли, задолго до того, как увидим ее самое. Заметьте, господа, Африка имеет своеобразный запах, хоть не сумею сказать вам — что именно там пахнет, земля ли или какоенибудь растение.

Инженер улегся в разложенном кресле и с удовольствием вдыхал морской утренний воздух, еще не разогретый солнечными лучами. Пароход равномерно подрагивал, слегка раскачиваясь с одного борта на другой, медленно и нежно, как бы убаюкивая. Море было тихо, лишь небольшие рябьки от утреннего ветерка бороздили его. Чайки неустанно носились, еще с раннего утра высматривая добычу вокруг парохода; иногда они пролетали так близко, что вот-вот, казалось, зацепят своими изогнутыми крыльями за спасательные шлюпки, за трессы; тихонько и жалобно перекликались.

— Мы давно поджидаем вас, — офицер-спаси поправил ножку, которая плохо была поставлена под креслом инженера, — хотели бы услышать еще что-нибудь про Сибирь. Все, что вы нам рассказали вчера, так для нас ново! Мы плохо знаем русскую литературу, географию, Сибирь же нам совершенно незнакома, — французские школы ею не занимаются.

— С удовольствием, господа, если вам не надоело... Времени у нас хватит, пароход, по обыкновению, запаздывает. Часа через три мы будем в Гелетт, откуда пойдем по каналу до Туниса. На канал посмотрите хорошенько, поучитесь, как не надо строить, — правда, предприятию этому уже много лет. Мог бы я вам рассказать и о его постройке, да вы и без меня услышите это в Тунисе. А что касается Сибири, уж и не знаю, что еще..

— Вчера вы упомянули про «Страшную историю», — поспешил напомнить политехник. — признаюсь, я очень

люблю рассказы Эдгара Поэ и вообще приключения захватывающие, — этот жанр литературы так успокаивает ум и нервы; к нему привыкаешь, как к наркотику. Один мой товарищ не мог заснуть, не почитав полицейского романа.

— Признаюсь, я тоже! — усмехнулся спаги, — мы все в училище проглатывали романы авантюры, один другого забавнее. На какие только вымыслы не пускаются авторы, чего только не придумают! Мне иногда кажется, что все комбинации уже использованы, нельзя изобрести положения, которое не встречалось бы где-нибудь раньше... То же, что со сценариями в кинема, — все перенграно, все показано на экране. Они англичане в этом отношении чего стоят! Правда, в этой области у них конкурентов нет, такие «situations» придумывают для своих героев, что право иногда ахнешь от удивления. В политехнической школе мы и сами сочиняли полицейские романы, несмешно — для смеха. Раз даже конкурс устроили на самое невероятное приключение, — кажется, мне и достался приз. Но до чего я додумался тогда, теперь не припомню. Фантазия человека предела не имеет, можно сочинить то, о чем действительность и не догадается.

— Позвольте, мой дорогой, не согласиться с вами. Я могу назвать автора, до которого в смысле фантазии далеко всем романистам, даже англичанам.

— Кто такой? — заинтересовались оба.

— Кто?.. Сама жизнь! Уверяю вас, жизнь преподносит иногда такие сюрпризы, ставит нас в такие положения, так изумительно пользуется фактором случайности, что оставляет далеко за собой все измышления и фантазии самых искусных авторов.

— Не может быть. — запротестовал политехник, — в жизни всегда есть логика, последовательность, одно

событие вытекает из другого. Если и бывают неожиданные явления, их можно предугадать. Авторы же ловко передергивают, благодаря чему и создают положения, захватывающие читателя, но возможные только теоретически. Возьмите хотя бы сочинения Эдгара Поэ, Уэльса. Их измышления — плод фантазии, таланта — правдоподобны, но в жизни ничего такого никогда не было и не может быть. В жизни все проще, все логичней.

— Вы полагаете? — инженер задумался: — Я не согласен. Жизнь, господа, обладает удивительной фантазией, действительность может создать подчас обстановку, до которой не додумается, повторяю, и самый талантливый романист... Не так? Позвольте тогда задать вам загадку из области приключений, авантюры. В загадке мой, подчеркиваю, никакого вымысла нет... Так вот: придумайте положение, обстоятельства, при которых человек, всеми уважаемый, приличный, занимающий хорошее положение в обществе, ни в чем и ни перед кем не провинившийся, попал бы вдруг без малейшей вины со своей стороны, ничего даже не зная и не подозревая, в положение хуже парня... Я хочу сказать — пал бы так низко, что идти ему уже некуда и остановиться негде, каждый может его забрать, схватить, даже убить при малейшем сопротивлении и за это убийство получит не наказание, но похвалу начальства, общее одобрение, а то и повышение по службе... Шучу? Нет, истинная правда! Не может быть? Может! И не только может, но и было. Да скрывать не стану, со мной самим это и случилось... Извольте, расскажу: эта история, если хотите, и будет называться «Страшной историей». Вот этот собакевич, наш четвероногий приятель, мне о ней и напомнил...

Как будто понимая, что говорят о нем, сан-бернар на полном карьере хотел повернуться к разговаривающим

в креслах, — но лапы его скользнули и со всего размаха он покатился по мокрой палубе. Дама бросилась к нему, поймала его за ошейник и увела в каюту.

II

— Я уже рассказал вам, господа, что сибирская моя служба, перед войной, сложилась замечательно. Я попал в начальники отдела, заведывал самостоятельным интересным делом, у ближайшего начальства — на хорошем счету и, главное, на виду у министерства в Петербурге. Случилась, правда, тогда эта неприятность из-за охоты на тигра и я не получил того повышения, которое готово было свалиться на меня, как с неба, по истории скоро забылась и не слишком горевал я о моем промахе и провале, — жизнь залечивает и не такие раны, да еще в молодые годы!

Зимой на постройке работы было немного — все под снегом; мы готовились к весне, к летнему сезону, чтобы закончить строительство и сдать дорогу в эксплуатацию. Каждый день после занятий в управлении я заходил к начальнику технического отдела Червинскому, моему приятелю, хотя он и был лет на десять меня старше. Был он женат, имел двух прехорошеньких дочерей и рассчитывал, что его семья будет жить вместе с ним в Благовещенске, почему и спял еще в начале работ хороший дом и обставил его, да ошибся! Жена приехала, посмотрела, прожила три недели и уехала обратно в Россию, а оттуда в Швейцарию. Доктора, видите ли, нашли, что суровый климат Амура не подходит для ее нежного здоровья и для ее дочерей...

Остался Червинский один в большом доме, но не отчаивался; все надеялся, что здоровье жены и дочерей

поправится в Швейцарии и что они все-таки приедут в Благовещенск. С надеждой этой прожил он год с лишним, а в следующую зиму всеми правдами и неправдами получил отпуск и поехал в Лозанну, где жила жена с дочерьми, надеялся вернуться вместе с ними. Вернулся, и не один, да не жену привез. а... щенка. ее подарок! Жена сумела опять доказать, что ехать ей в Сибирь неблагоприятно, с чем он и согласился... Велика сила женщины, особенно, когда ее любят. «Нечная кукушка, — говорит русская пословица, — всех дневных перекукует».

Стал мой приятель снова жить один, продолжая выжидать поправления здоровья жены и дочерей, которые, по моему, если чем и страдали, так изнепоправимо здоровья.

Зачем притащил он щенка из Швейцарии, по русской ли наивности, по капризу ли жены, из любви ли к ней, этого я понять не мог. Купила она его в монастыре Сан-Бернара: собакевича и назвали Бернаром. Как сумел Червинский довести его до Благовещенска, скольких усилий это потребовало, — одиннадцать тысяч километров по железной дороге ведь не шутка, — как бедный песик выдержал их, не знаю, но в Амурской области уроженец Альпийских гор почувствовал себя гораздо лучше, чем жена моего друга; рос он не по дням, а по часам, с каждой неделей становился больше, красивей. В марте 1911-го года это был уже огромный великолепный пес, белый с черными пятнами, сан-бернар чистейшей породы. На счастье, и задние лапы у него были здоровые: обычно они скоро становятся полупарализованными, как вот у этого пса — хотел познакомиться с нами, да растянулся!

Амурская суровая зима. ветер, пипца, все припало по душе альпийскому уроженцу, выпел он на славу. Характера, как и полагается сан-бернару, ангельского, не

покусал никого, даже не гавкал злобно, хоть и лаял оглушительно, чтобы выразить свое удовольствие, вагнать страху или выпросить кость. Со мною был он первый приятель. Собак и кошек я любил с детства, они мне отвечали тем же; а к старости — все чаще вспоминаю известную фразу: «чем больше я узнаю людей, тем больше люблю животных». И не удивительно было, что Бернар привязался ко мне. После смерти Аслан-Бека, о котором я рассказывал вчера, я прекратил собственное хозяйство, чтобы не иметь дела с китайцами, и устроился обедать у Червинского — не мало побаловал я тогда красавца Бернара! Понятно, почти каждый вечер я засиживался у приятеля, иногда до позднего часа. Завидя меня, Бернар всякий раз устраивал мне прием: лаял, скакал, прыгал ко мне на плечи, старался лизнуть, где только мог.

После обеда я усаживался обычно в венскую качалку, а Червинский закуривал неизбежную трубку и предавался поэзии. Любил он ее страстно, русскую и французскую, но предпочитал декадентов, из русских — Блока, Бальмонта и всю плеяду их последователей. Декламировал он плохо, не владел голосом, картавил, пришепывал, закатывая глаза от удовольствия, — зато в похвалах слушателя не нуждался. Писал и сам, в том же духе и на те же темы; любил читать вслух и собственные произведения, которые беспрерывно переделывал, но, к счастью, не пытался печатать. Обычно я мало слушал его и больше возился с Бернаром, стараясь только не слишком шуметь.

Раз вечером, а было это в конце марта, Бернар взгромоздился ко мне на колени, положил мне голову на грудь, а лапы — на качалку. Один был у него недостаток: у всех сан-бернаров течет слюна, особенно когда они разнежатся (обыкновенно я защищался носовым

платком, чтобы не чистить потом тужурки и брюк от следов собачьей нежности). Так было и в этот раз, Бернар расчувствовался, даже закрыл глаза от удовольствия... Повторяю, я любил эту собаку за красоту, за ангельский характер, за покинутую им родину. Да он и стоил того: шерсть у сан-бернардов и всегда красивая, мягкая, у Бернара же была прямо шелк!

Глажу я его по голове, чешу за ушами, наклонил свою голову к нему; на качалке вдвоем слушаем пришептывающего поэта, моего приятеля:

Жена чужая хороша,
Но ней тоскует все душа..

— Бедный малый! Чужих жен восхваляет, не прочь был бы и завлечь какую, а своя в Швейцарии и к мужу в Сибирь ни ногой, — жалею я этого неудачника семейного счастья, а сам ласкал головой чудесную шерсть пса.

Вдруг — «гав! гав!» — Бернар схватил мою голову, сжал ее в своей пасти! Кровь залила мне глаза, текла по щеке, по шее за воротник. Я не мог притти в себя от изумленья, от боли.

— Что бы ему сделали? — только и понял я из растерянных вопросов приятеля-декламатора: — Почему он вас укусил?

— Я-то почему знаю? Схватил и укусил. Лишь бы глаза остались целы, ничего не вижу!

Доктора, понятно, не нашли, — играл где-то в бридж, но приехал фельдшер с перевязками и со всем, что надо. Укусов оказалось два — на лбу и на затылке, оба сильные, зубы глубоко проникли в кожу. На затылке наложили швы, а лоб я всячески хотел охранить, боялся безобразного шрама, просил лишь хорошенько заклеить,

остановив кровь. Через час я походил на турка, побывавшего в Мекке, только вместо желтой чалмы повязка моя была белая. А Бернар, понимая, что он провинился, лежал тут же на полу и смотрел на меня, не спуская глаз, как бы прося прощения... Помните, древние греки считали бычачьи глаза за образец красоты, даже богиням давали эпитет «боопис». Уверяю вас, светлокарие глаза Бернара, лучистые, выразительные, были красивее!

— Как тебе не стыдно? — укорял я его, сидя на полу.

Бернар был сконфужен, понимал, что сделал плохо, усиленно давал мне лапу, то правую, то левую, хотел, быть может, объяснить, что, когда я наклонил к нему голову, один из моих волос попал ему в глаз или кольнул в нежную часть уха. Но я не понимал его собачьего языка, не умел читать в его красивых, таких выразительных глазах.

Часа через два приехал доктор, одобрил наложенные швы, пожурил за заклепку лба (предпочел бы швы и в этом месте), посоветовал не ходить в управление дня три, четыре.

Для очистки совести он считал мой пульс, смотрел язык и, на прощанье похлопав по шее Бернара, который пошел провожать его, уехал на очередную партию бриджа.

— Счастлив ваш Бог, что Бернар не хватил вас по глазам: это вам в отместку за футуристов! — утешал меня мой приятель, — да не огорчайтесь, до свадьбы заживет! А шрама не бойтесь, ему портить нечего, портит ваш, по совести, не такой-то уж важный.

III

Встал я, господа, на следующее утро — глаз открыть не могу: веки стекли, опухли из-за раны на лбу. Голова трещит, но, чувствую, цета: чистости Бернара ее не есилили. Наш доктор опять приехал, на этот раз вместе с фельдшером, делать перевязку: хотел сам удостовериться, хорошо ли наложены швы. За доктором пожаловал и городской врач — случай этот его заинтересовал... Делают перевязку, расспрашивают, как и почему собака укусила. Да я-то почем знаю?

Опять считают мой пульс, измеряют давление на правой руке, максимальное и минимальное, пытаются посмотреть мне в зрачки с отеками веками, зажигают спичку перед самым носом, — на то они и доктора! Посадили меня на стул, нога на ногу, постукивают резиновым молоточком пониже колена, паблюдают, как нога подпрыгивает. Прodelывают то же и с другой. Подносят мне, наконец, стакан холодной воды.

— Не могу, господа! Я только что горячего чаю напился.

— Пожалуйста, это очень важно!

Характер у меня покладистый, почему и не сделать одолжения? Глотнул воды, а оба эскулана не спускают глаз с моего горла.

— Довольно?

— Достаточно, если больные не можете. — поговорили еще, распрощались, уехали.

Не проходит и часа — они опять ко мне, просят помощи убедить моего приятеля.

— В чем?

— Червинский не позволяет убить собаку.

— Какую собаку? Бернара? В уме вы, господа? Такого чудесного пса?

— Но это необходимо! — настаивал городской врач. — Скандал будет, если придется действовать через полицию. Червинский грозитя стрелять во всякого, кто тронет его сан-бернара.

— Правильно! Я сам ему помогу!

Меня возмущало требование этих людей, их желание умертвить неповинного пса, да такой красоты, для каких-то там опытов.

— Необходимо исследовать его мозг и внутренние органы.

— Чего там исследовать? Собака ни в чем неповинна. Мой волос мог уколоть Бернара в глаз!

— Возможно, но нам нужна уверенность.

Тут городской врач разъяснил, что Амурская область неблагополучна по части бешенства: волки бесятся зимой от недостатка пищи и кусают деревенских и городских собак. В Амурской области наблюдается и другое странное явление — сучки устраивают свадьбы четыре раза в год (чего не встречается нигде в другом месте) и в этих свадьбах участвуют волки, которые грызутся с сильными псами: Бернар и мог быть укушен волком или собакой уже зараженными. Специалисты предполагают даже, что такая аномалия среди животных происходит от радиоактивности почвы в Амурском крае (чего только не приписывали радню, особенно в первое время его открытия!).

— Но Бернар никуда не выходит, и ни одна собака его не тропет, все его боятся.

— Кошка могла покусать! — не сдавался городской врач.

— Что вы, господа, придумываете? — не уступал и я, — никаких здесь ужасов нет, к счастью глаза мои целы... А убивать Бернара мы вам не позволим.

Выпроводил я их, позвонил приятелю, похвалил его за решительность, спросил про Бернара.

— Его здоровье? Отлично! На дворе по снегу носят-ся. Если полицию пришлют за ним, буду палить из револьвера. Не понимают, черти, что это подарок жены!

В начале полудня заезжает ко мне наш генерал, начальник постройки. Он узнал об инциденте и захотел сам справиться о моем здоровье. Рассказал я ему все подробности этого комического случая и предупредил, что дня три-четыре ходить в управление не буду.

— Пожалуйста! Дела сейчас немного, приходите, когда поправитесь. Я хотел даже предложить вам съездить во Владивосток...

— Мне? во Владивосток? для чего?

— Врачи, видите-ли, считают, что было бы полезно сделать анализы в местном Пастеровском институте. У нас его нет, есть только во Владивостоке. Почему вам, в самом деле, не проехать туда? И вам будет спокойнее, и докторов уважите.

— Да что я там буду делать? Я во Владивостоке никогда и не был.

— Тем более! Воспользуйтесь случаем и посмотрите. Пробудете недельку, оттуда первым пароходом из Хабаровска и обратно. И все — на казенный счет. Есть медицинское постановление для вашей отправки туда. Кстати, ваш брат, морской офицер, не во Владивостоке ли?

— Там... Я, действительно, не видел его года четыре. Но мой отдел? И открытый лист? Без него теперь не проедешь.

— Все сделано! Собирайтесь! Скоро и лошадей подадут. Да не теряйте ни минуты, отгепель на носу, не застряньте посреди дороги...

Он позвонил в управление, отдал все распоряжения,

попрощался. Привезли мне открытый лист для преимущественного права на получение почтовых лошадей, деньги, пакет для Пастеровского института во Владивостоке. Я стал собираться и через час, попрощавшись с приятелем и заместителем моим по отделу, я уже больше не досадовал: говорили, и не заикайся об отпуске, а я вот получил благодаря Бернару, да еще на казенный счет! Во Владивостоке я не бывал, — увижу, следовательно, места новые, интересные, да и брата навещу.

Опасно было, правда, приближение весны; оттепель могла ударить со дня на день, — дороги станут враз непроезжи. Но в этот день, 27-го марта, стоял еще крепкий морозец, снег лежал прочно, можно было надеяться проскочить без затруднений.

Неприятна была, конечно, сама дорога, в лучшем случае — шесть, семь суток беспрестанной езды в возке, еда на станциях, руганья, торговля из-за лошадей, да к этому прирыкаешь...

Доставли мне меховую шапку размером на Голиафа, моя чалма поместилась в ней, как у себя дома: нельзя даже было узнать со стороны, есть ли у меня на голове повязка (о красоте своей, как видите, я заботился!). Останавливаться по дороге было негде, раздеваться не надо, — никто, следовательно, меня и не увидит.

Солнце еще не село, как я покинул Благовещенск. Долго стоял в моих ушах зычный лай Бернара, который пришел со своим хозяином проводить меня и рвался из его рук, — ой-как хотелось ему проехаться со мной в возке, полном душистого сена!

IV

В начале путешествия зимой санная дорога и возок усыпляют; нервы успокаиваются, впечатления слажки-

ваются; оставив все и всех позади, вы дремлете неодолимо. Первую ночь я из возка не вылезал, поворачивался на сидении из сена поудобнее, чтобы не отлежать одного бока, засыпал и просыпался, когда меняли лошадей. Ямщики кричали, переругивались, лошади фыркали, брыкались, не хотели выходить на ночной холод из нагретой конюшни...

Утро застало меня уже на дороге по Зейско-Буреинской равнине. Это одно из замечательнейших мест, какие я встречал в моей жизни. Зейя и Бурей, притоки Амура, текут почти параллельно с севера на юг на расстоянии около двухсот километров. Вечной мерзлоты на этой равнине нет, нет там и возвышенностей; леса сожжены, пни выкорчеваны. Почва богатейшая, почти сплошной чернозем, не требует удобрения; воды — изобилие и как раз там, где надо. Зейско-Буреинская равнина, кажется мне, самой природой создана для механической обработки в больших размерах. Растет там все, что угодно, только не сей или посади.

Много и горных богатств, начиная с золота. Но для нас, инженеров, главную роль играло не оно, а каменный уголь, который нашел в этих местах инженер Шукин, сын нашего известного профессора. Уголь залегал недалеко от Буреи, прекрасного качества, без серы, мощными пластами. Разработка его обещала быть легкой, но к ней не приступали из-за отсутствия средств перевозки, да и потребности в нем не было — уголь предназначался для топки паровозов, которые притти еще не могли.

Не скрою, подав я тогда проект использования буреинского угля — раньше укладки рельсового пути, при условии постройки, вблизи каменноугольного рудника, цементного завода. Мергель был там под рукой, глины сколько угодно, а цемент нам требовался для железной

дороги в огромных количествах. Должен сказать, что на всю Сибирь того времени был лишь один цементный завод около Иркутска, да и то работал он на черемховском каменном угле и выпускал продукт самого последнего качества. Тысячи верст везли к нам этот плохой цемент по железной дороге, пароходами, на лошадях, между тем устои мостов западной части Амурской дороги, сложенные на этом цементе, развалились раньше, чем паровоз до них доехал. Цемент не схватился. Устои переделали, сделали немного покрепче, я же, как автор проекта цементной промышленности на Амуре, только по носу получил: единственный завод этот принадлежал компании петербургских дельцов с большими связями, эти господа конкуренции своему заводу не допускали, особенно конкуренции государственной, казенной.

Почтовая дорога шла по местам населенным: большие казачьи станицы, русские деревни, оживленные станции, где меняли лошадей (приблизительно каждые три часа) и где они выстаивались десятками. На каждом перегоне сменялся и ямщик, то из казаков, то из старообрядцев, то из русских запятников, недавно переселившихся из России, еще не привыкших к сибирской жизни.

Разговариваю с одним, с другим; ответы те же: «Земля первый сорт, да взять ее трудно!» В самом деле, переселенческое дело в России было поставлено в то время плохо. Основано оно было на квази-демократических началах и находилось целиком в руках правительства. Частные капиталы и предприниматели не подпускались к нему даже близко: совершенно обратное тому, что делали умные люди в Северной Америке.

Беднейшее население средней, главным образом, России, не видя другого выхода в своей беспроглядной

жизни, решало зачастую переселиться в Сибирь (в мое время — как раз в Амурскую область). Многие крестьянские семьи, дошедшие в России до последней крайности, прельщались перспективами новых земель, ничтожными денежными подачками правительства и даровым билетом. Не последнюю роль играли и надежды, мечты о «сибирских молочных реках и кисельных берегах». Без знания страны, без должного руководства, в совершенно незнакомых условиях жизни и работы, без средств на необходимое оборудование и инструменты, переселенцы годами владели в Сибири жалкое существование, а то и бросали отпущенные казной участки и становились батраками старожилов, казаков. Лишь кое-кто из переселенцев выбивался путем каторжных усилий, долго не понимая, что надо косить в день такого-то святого, когда в России привыкли в это время сеять! Глубокая пахотба, чтобы предохранить посевы от засухи, ирригация, соответствующий подбор семян и трав — все это было им незнакомо, не по средствам, не по образованию. Впечатление было не отрадное наряду с этим богатством природы, с этими возможностями кругом и во всем.

Мысли мои соскользнули опять к Благовещенску, вспомнилась собственная моя курьезная история...

Но ведь благодаря Бернару я получил отпуск, да еще на казенный счет! Проедусь во Владивосток, увидаюсь с братом и его товарищами-моряками, а оттуда вернусь барипом из Хабаровска в Благовещенск на пароходе. Беды большой не будет, если все места на первый рейс уже разобраны, — поеду со следующим. Поездка на пароходе вверх по взбушевавшемуся от весенней воды Амуру, среди льдин и вырванных половодьем деревьев, предстала мне заманчивой. Так оно и было на самом деле. А вот несколько лет спустя пришлось мне ис-

пытать и другую поездку, зимой, да еще в Белом море, — такой не пожелаю и злейшему врагу...

«Однако», думаю, «что за чепуху рассказали мне господа эскулапы? Бешеная собака?.. Волки?.. Какая чуха!» Я отбрасывал эти глупые мысли, но невольно вспоминались рассказы о бешеных собаках, кошках... Водобоязнь? Говорят, бешеные животные не прикасаются к воде, даже не подойдут к ней. Не для этого ли доктора давали мне выпить стакан воды? Не думают ли они, что я могу взбеситься?

Так шли третьи сутки. Дорога, вся в снегу, крепко замерзла, железные полозья местами резали землю, цеплялись за камни там, где ветер обнажил ее, — лошади тогда враз переходили на шаг. Наконец, равнина кончилась, мы стали взбираться на Становой, или Яблоновый хребет, где, кстати сказать, яблок нет и в помине. Дорога вилась лесами и оврагами, иногда — по снегу, а то и по лысым пригоркам, где даже травка пробивалась. Ехать стало куда как труднее. То и дело очередной по перегону ямщик соскакивал с возка, шел рядом, тащил за оглоблю, за гуж, а то и подталкивал сзади, помогая упряжке. Вылез и я, не грех было промывать ноги и мне.

Хребет этот пересекала наша железнодорожная постройка, но несколько севернее. Там строился длинный туннель, он не представлял больших трудностей, шел в камне и воды в скалах не было. А недалеко от него уже пробили другой, сравнительно небольшой туннель в глине и в сланцах на северном склоне хребта, — вот здесь-то и случилось довольно редкое явление: гора промерзла сверху до низу, вечная мерзлота победила ее, а пробитый туннель стал прогревать почву; тогда весь огромный откос горы пополз, очень медленно,

правда, но неудержимо. Туннель этот так и назывался у нас «ползучим».

После длительного и трудного подъема, мы въехали наконец на хребет. Отсюда картина резко изменилась, и не в мою пользу: снег растаял, начипалась весна. Севере-западный горный склон, по которому мы взбирались перед тем, был защищен горами от морского климата Приамурья, по нем и можно было ехать на полозьях; на южном же, куда мы теперь попали, это оказалось невозможным: снега там не было, почва оттаяла. С трудом добрались мы до остановки, где бросили юзок и запрягли лошадей в тележку, самую легкую, понятно — без рессор, на двух деревянных дрожинах с плетеным кузовом.

С этой минуты началось настоящее мучение. Кое где, на теневой стороне, попадался снежок, колеса резали его, скользили, не крутились. Закладывали иногда и развални, больше по ночам; выбирали опушки, где на замерзшей почве лежал еще снег. Но чем дальше, тем становилось теплее, дорога — мягче, даже по ночам; колеса увязали по ступицу в грязи, лошади — по колено. Распутица!.. Ямщики, лошади, тележка, я сам, все были покрыты грязью и двигались через силу, шатались от усталости. Два лерегопа, помню, мы сделали верхами, — но это было не лучше... Ямщики ругались, проклиная жизнь, пассажиров, стегали, смертно били изнуренных лошадей. Часто вырягались и мы сами, очередной ямщик и я, чтобы не дать коням окончательно выбиться из сил.

На станциях перепрягали, брали отдохнувших лошадей, менялся и ямщик, — оставался лишь я, тот же самый, изнеможенный, разбитый. И думал я только о том, как бы поскорее добраться до Хабаровска, где я должен был сесть, наконец, на владивостокский поезд; счи-

тал перегоны и оставшиеся километры. Не выходила все из головы и странная история, которая приключилась со мной так неожиданно. Начинала она предстать мне в несколько ином виде, куда как менее занимательном.

Я уже сказал вам: до перевала я и не видел воды, — была еще лютая зима, кругом все заморзло, поэтому не мог я на пути проделать опыта над собой, который давно был у меня в голове: станций же я опасался. В деревне, еще с детства, я слышал рассказы о бешенстве, о взбесившихся собаках, коровах. Говорили и про бешеную кошку, будто бы силы непомерной... Бешеную собаку я и сам раз видел: шерсть всклокоченная, хвост между ногами, сама — полумертвая от страха, осереженевшая от злости. Куча ребят и мужиков с вилами и топорами загнали ее в угол нашего сеного сарая. К ней боялись подойти, бросали в нее издали палки, кирпичи, все, что попадало под руку. Бросал и я.. Там же, наконец, ее и пристрелили. Все были после этого довольны, чувствовали себя героями, избавившись от огромной опасности, как считалось в деревне.

Собака эта, говорили, стала вдруг бояться воды... «Не потому ли врачи давали мне воды выпить?» — промелькнула мысль. Жажда у меня тогда, действительно, не было, но... водобоязнь? «Не попробовать ли, пока никто не видит?»

На юго-западном склоне уже весело бежали ручейки от растаявшего снега. Я подошел к воде. «Боюсь?»... Как будто, нет... Зачерпнул пригоршнями, хотел сделать глоток, а горло, чувствую, сжимается; излишняя слюна во рту... «Что это? бешенство? нервы?» Сделал усилие, зачерпнул еще, взял в рот, проглотил с трудом, — какая-то боль в горле... «Не болен ли я в самом деле? не заразился ли от Бернара?».

Забыл я в тот миг и о шраме, и о повязке на голове. Волосы мои, чувствовал я, поднимали голиафову шапку... «Что делать?... Прививать! скорее! не опоздать бы! Сколько проехал? сколько осталось до Владивостока?»

Я торопил ямщиков, щедро раздавал на-чан, подгонял лошадей, не раз сам подталкивал бричку, лишь бы добрагься до следующей станции и получить свежую тройку. На счастье мой открытый лист действовал без ошечки, — я не обращал внимания ни на несчастных пассажиров, ожидавших очереди (было их, впрочем, немного из-за распутицы), ни на просьбы заинтересованных ими старост, которые старались уговорить меня отдохнуть, поесть; ругался, требовал, чуть не отгибал лошадей! А были проезжие, которые ожидали целыми днями.

Без устали, как помешанный, стремился я вперед, во Владивосток, в спасительный институт Пастера!

У

На пятые сутки доехал я до казачьей станицы Гостеприимная. Очередной ямщик-казак рассказал мне, что станица эта большая, богатая, что жизнь в ней приятельная, только вот вода веслой забирает. Въезжаем в станицу, где должны были перепрягать лошадей: полагал я наскоро поесть, что попадетсЯ, и опять вперед... Всего лишь полпути проделано, а шли уже пятые сутки.

Большая изба посреди станицы — почтовая станция. Крыльцо на улицу с тремя ступеньками, на крыльце — два мужика с дубинками в руках, курят трубки. Ямщик, остановив уставшую тройку, собирался уже соскочить с козел.

— Дальше! Тут нельзя! — мрачно проговорил один из мужиков на крыльце, вынимая изо рта трубку и поглаживая темную длинную бороду.

— Куда дальше? Тут же станция! — изумился ямщик.

— Говорю, дальше, так дальше! — рассердился бородач с дубинкой: — В станице найдешь станцию. Саженей сто отсюда, — он резко махнул рукой направо, вдоль дороги, и сплюнул.

— Лошадей перепречь надоть... Барин дальше поедет, у него открытый лист...

— Проваливай! Тебе говорят!

Бородач сошел на ступень пониже. В ту же минуту из избы раздался раздирающий душу вопль: «Спасите! На помощь!»

— Кто это кричит? — спросил я бородача. — в чем дело?

— Прочь отсюда, говорят вам! — оба мужика были уже возле брички: — Там найдешь станцию! — указал один из них дубиной ямщику и замахнулся. Тот зачмокал на лошадей, стал подгонять их кнутом: бричка загрсмыхала. А сзади неся хватающий за сердце крик: «Ай-ай-ай! Батюшки! Спасите!»

— Кто кричит? — спросил я у ямщика, когда тот приостановил лошадей, отыскивая незнакомую ему хату.

— Бог его знает! Дело не наше! — бросил он мне, расспрашивая встречного пожилого казака, куда перевели станцию.

Оказалась она в полукилометре от прежней. Я вошел в избу, предъявил свой лист, потребовал свежую тройку. Спросил и поесть чего-нибудь, пока будут перепрягать. А в ушах — все еще отчаянный вопль какого-то несчастного...

За столом сидели трое, пили чай. Когда они услыша-

ли про мой открытый лист и поняли, что первые свободные лошади предназначаются мне, заволновались, стали убеждать почтового старосту, что они ждут уже сутки, упрасивали его, — но право было за мной. Я присел на лавке около окна; один из обиженных, зажиточный купец, судя по внешности, или служащий, подошел ко мне.

— Наших лошадок, господин пассажир, забрать хотите? — говорил он ласково, как бы шутя, но глаза его не смеялись: — Мы умирать тут должны, что ли? Без открытого-то листа? Вторые ведь сутки дожидаемся! Как же так? Не уступите ли нам вашу очередь? Устали же вы с дороги — лица на вас нет... Да и голова видно поранена... А? Уступите! Уж мы вам так будем благодарны! — и сует мне в руку красную бумажку.

— Потрудитесь оставить меня в покое!

Удивленный, он отошел к товарищам, пошептался, слова возвращается.

— Вот что! Не знаю, как вас по имени, отчеству... Четвертной билет — и очередь наша!

Протягивает кредитку в 25 рублей, в развернутом виде, как бы надеясь, что красивый портрет царя увеличит ее подкупную способность.

— Я еду по казенной надобности и очереди не уступлю.

Купец пожал плечами, усмехнулся и — назад, к столу. Прошло минуты две.

— Что же, господин хороший, вы один сидите? — обратился ко мне человек из той же компании, с седой бородой и длинными волосами, одетый в дорожную чуйку: — Пожалуйста к нам, места за столом для всех хватит... Давай барину сюда! — скомандовал он старой бабе, подававшей мне ветчину.

Пришлось пойти за стол, к тому же есть на лавке бы-

ло неудобно. Принялся я было за ветчину, как издали — тот же крик отчаяния, хотя и мало слышимый, — аппетит сразу пропал.

— Эх, отобрали вы от нас понадок! — вздохнул пассажир с седой бородой. Он полез в карман за платком, и я понял по длинной его одежде, что это духовный чин. — По делу, значит, едете... По казенному? Так! так!...

В ту-же минуту — новый вопль.

— Вот она, жизнь человеческая! Провинился, значит, человек, Господь и покарал его.

— Покарать-то покарал, батюшка, — вмешался самый молодой из компании, — да надо было сначала с него шапку сбить, а потом уж дубиной — ему бы и крышка! А то, сколько времени зря мучается.

— Все за грехи человеческие...

— Кто это кричит? — не удержался я, — почему не помогут ему? Должен же быть здесь доктор или фельдшер!

— Какой там доктор! — духовный чин уставился на меня: — Вы, вижу, не знаете, приехали только что... Тут целая оказия.

— Какая оказия? — перебил его мой соблазнитель: — Дело обычное. Бешеный и ссти. бешеный. Ехал человек из Благовещенска на прививку, в дороге его и захватило. Распутица, туда-сюда, не успел, время я пришло... Сюда доехал, а здесь казаки — народ тонкий. Сообразили, в чем дело, порешили прикокнуть его. Да промазали — он здоровый, прездоровый! У бешеных ведь сила страшная. Вырвался и заперся на станции. Его караулят, а он кричит не своим голосом... Ну что-же, батюшка? По маленькой, что ли? Времени у нас девать теперь некуда, лошадок то наших, гляди, уже запрягают, да не для нашей милости.

— По маленькой, так по маленькой! А потом и по большой можно... Хэ-хэ!

— Что же с ним дальше будет? — не выдержал я, руки и ноги у меня холодели.

— Старикн прикончат из винтовки, атамана только поджидают, кто-то у него обедает; занят, значит.

— Это же убийство! За это они ответят!

— Какое убийство? — духовный чин покачал головой: — Человек утерал образ и подобие Божие, стал хуже скотины, опасен для всех, его и надо устранить. А что до ответа, за это они только благодарность получают.

— Как же казаки могли узнать? — нервы не слушались меня: — Они ведь не доктора!

— Тут, господни чиновник, лучше докторов знают. В этой вот станице был один случай. Ехал так вот какой-то из Благовещенска на прививку. — их тут человек пять, шесть каждую весну проезжает, — да не досхал. вот как и этот. Вzbесился, покусал троих станичных. Казаки теперь и опасаются таких-то. Как кто на прививку едет, ему перво на-перво стакан воды или чая, да невзначай. Не вынул, тут ему и крышка.

— Этот от воды отказался, — вмешался молодой, — мы ходили потом смотреть через окошко. Здоровый, прездоровый, голова разбита, все лицо в крови. А уж бешеный! И говорить нечего, только что пены изо рта негу.

— Говорил я, надо сперва с него шанку сбить...

Я сидел сам не свой. «Не написано ли на моем листе, что я на прививку еду?» — резнула мысль, — «что тогда?»

Я встал из-за стола, пошел искать старосту.

— А ветчина ваша, господин чиновник, — обратил-

ся ко мне, в свою очередь, батюшка с белой бородой, — п чай ваш? Вы к стакану и не притронулись.

Старосту нашел я на дворе, он переругивался с ямщиками из-за подков и валенок. Я спросил у него мой открытый лист и остался на дворе, как будто для того, чтобы смотреть, как запрягают лошадей. «Что в листе?.. Если указана командировка для прививки в Пастеровском институте, дело плохо: я мог и не уехать из Гостеприимной! Эта же компания и выдаст меня казакам, как только узнает это, а вдобавок я и к чаю не притронулся!»

Руки дрожали, когда я развертывал отданный мне лист. Ничего! Просто — «командируется»... Спасен! Но ямщики? Они ведь передают один другому историю поездки каждого пассажира, сколько кто на чай дает, зачем едет, почему? Правда, я никому из них ничего не сказал, но — в Благовещенске? История укуса могла разнестись по городу, первый ямщик мог слышать о ней и передать другим... Скорей вон отсюда! Подальше от этой Гостеприимной, от воплей и криков благовещенского проезжего, которого через час или полчаса казаки пристрелят, как собаку...

Десять рублей старосте: «Лошадей немедленно!»

Долго, долго, проехав за околицу, я еще слышал отчаянные крики о помощи несчастного человека... Знал ли он об участи, которая ожидала его? Чем провинился он? И не было ли здесь роковой ошибки?.. Я беспрестанно торопил ямщика, тот зверски погонял свежую тройку, отобранную у батюшки с седой бородой. Еда и жажда выскочили у меня из головы, — только бы добраться поскорее до Владивостока, до чудотворного Пастеровского института.

Вы понимаете, конечно, господа, что путешествие мое на лошадях от этой станции до Хабаровска потеряло для меня всякий интерес, сделалось настоящей пыткой. Исчезли даже тревоги о будущем шраме на лбу, пропала и радость увидеть брата. Я думал об одном: здоров ли я или заражен, и что будет со мной дальше. «Не одна Гостеприимная существует на этой дороге», буравила мне голову тревога. «Будут другие станции, станицы, казаки; приемы и лечение от бешенства у них, наверное, одинаковы!» Спасенье было лишь в том, что в моем открытом листе не упомянуто, быть может по упущению, для чего я командирован, но теперь-то я знал о приеме этих примитивных людей распознавать больных (стакап воды, чая!). И ничего здесь не поделаешь, они защищали себя и своих близких от призрачной, а возможно и от настоящей опасности, хоть и ухлопывали, вероятно, и ни в чем неповинных людей.

Первый же ямщик, казак из станицы Гостеприимной, рассказал мне, ухмыляясь, что они хорошо распознают, кто доедет, а кого болезнь захватит по дороге. «И тогда — чего же ему, барин, танцаться? Коней только зря трепать, да себя мучить?»

— Р... разве от этой болезни нет средств? — еле выдавил я.

— Какой там! Бешеному ничто не поможет. Других бы не перепортил. Один раз у нас в станице...

«Что будут делать со мной в Пастеровском институте?», — думал я, не слушая ямщика... «Нет, казаки олибаются! Наука должна же иметь средства, должна уметь определить, кто заражен, кто нет. Анализы... исследования»...

Я напрягал память, вспоминал все, что приходилось

читать и слышать об этой страшной, непонятной болезни, но все это были крохи. Ничего определенного я не знал, ничего не встречал в литературе, да, правду говоря, никогда и не интересовался этим. Деревенские же понятия в России были совершенно такие же, как и сибирские: «взбесился — значит, конец!».

Вспомнилась даже французская народная мудрость: *Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage*. Конец такой собаки тот же, что и человека из Гостеприимной — пуля или заряд дроби!

Не смотрел я уже на дорогу, не обращал внимания на распутицу, на измученных лошадей. Выезжавших с очередной станции выкормленными и свежими и добравшихся до конца перегона почти шатаясь, с парящейся от пота и от мокроты шерстью. Почти без пищи, без питья, я бессознательно стремился вперед. На станциях, на перепряжках я не выходил из тележки, посылаю лишь мой лист, требовал лошадей, ругался, платил...

Признаюсь, я даже боялся произвести над собой новый опыт, выпить воды из ручья, — они теперь были всюду, глупо-игривые, противно-журчание! Боялся и подойти к ним: горло сжималось, во рту — необычная слюна, странный вкус... Сна не было, лишь изредка задремывал в тележке, полулежа клевал носом, теряя на толчках шапку вместе с повязкой, — к счастью она была уже почти не пужна: заклеенная рана на лбу затянулась, осложнений не было, швы на затылке срослись еще лучше.

Взглянул раз я на себя в зеркало на одной станции, во время пререканий с почтовым старостой из-за очередной лошадей. Зеркало ли кривое, таков ли был я на самом деле, — глаза лихорадочные, блестящие, лицо болезненное, грязное: каторжник с семидневной бородой! И вдобавок — красный шрам между бровями.

— Болен, заражен! — решал я и не мог ни рассуждать, ни противиться навязчивой мысли. По инерции я еще катился к Хабаровску благодаря моему открытому листу, благодаря огласке между ямщиками о моих щедрых подачках на чай. а главное, благодаря упрямым, дико-настойчивым требованиям лошадей, лошадей, — без еды, без питья, без отдыха, ни днем, ни ночью!

Не буду говорить о конце этой поездки, ни и для меня как бы в тумане... Где мы ехали, какие встречались нам станции, деревни, кто вез меня, в тележке ли я ехал, верхом ли, все это спуталось в моей голове. Важно было лишь одно: я еще жил, держался на ногах, боролся, как помещанный, с усталостью, с путевыми затруднениями, стремился добраться во что бы то ни стало до Владивостока...

На девятые сутки дотащился я, наконец, до Хабаровска. Умылся, переоделся: на станцию!.. Как ехал я в поезде, в каком вагоне и с кем, спал ли ночью — не помню совершенно, по утру я был во Владивостоке.

Бросил я в отеле чемодан и мои теплые вещи, пошел искать Пастеровский институт. Оказался он на окраине. Высокий глухой забор на улице, калитка. Звоню, никто не открывает. Вхожу, — дверь не была на задворке, — дорожка во флигель в глубине двора. По обеим сторонам ее — огород, в одном углу, на солнце, парники. Рамы в них приоткрыты. кто-то на корточках копается, очевидно — садовник. Спрашиваю об институте.

— Здесь! — отвечает садовник с легким латышским акцентом.

— Хотел бы видеть директора... Он у себя?

— Вам для чего?

Я объяснил, что приехал из Благовещенска, имею письмо к директору.

— Вы такой-то? — называет мою фамилию, — а я доктор, директор института. Поджидаю вас уже третий день. Получил телеграмму о вашем случае еще неделю тому назад. Запоздали! Из-за распутицы?

Вытирает руки о синий фартук, снимает его, становится интеллигентом средних лет, в затасканном костюме. Вошли мы в небольшой дом с железными рамами на окнах. Доктор пригласил меня в кабинет, сам же ушел в другую комнату, но через минуту вернулся с человеком в белом фартуке, по виду фельдшером. Сам сел за стол, вдали от меня: фельдшер — сзади моего стула.

— Клякни-ка Гаврилу! — скомандовал доктор, читая привезенное мною письмо: — Пусть захватит что надо!

Фельдшер вернулся, с ним какой-то огромный мужик, пастоящий горилла, со странным мешком в руках. «Камзол для сумасшедших?» — подумал я, «смирительный мешок?»

— Вы укушены собакой? двенадцать шестого марта? в лоб и в затылок? Сегодня, следовательно, девятый день... Критический в таких случаях, — и делает знак мужику-горилле.

— Десятый, доктор! Не девятый! — испугался я не на шутку.

— Как десятый? Разве в марте тридцать один день?

Считает по косточкам левой руки: — Да, тридцать один, значит — десятый... Подожди, Гаврила... за дверью, но не уходи. Понял?

— Это вы для меня пригостили?

— Не стану скрывать, случай ваш исключительно трудный. укусы в затылок наиболее опасны при этой болезни. Если бы вы приехали вчера, на девятый день,

критический для вас, я не стал бы и разговаривать, не приняв всех мер предосторожности. Теперь дело немного меняется. Раз этот день прошел благополучно, могу для осмотра оставить вас пока и без камзола.

Осмотр оказался такой же, как в Благовещенске. Доктор слушал мой пульс, смотрел язык, измерял артериальное давление, зажигал спичку перед глазами, стучал по коленам, заставляя ходить с закрытыми глазами вперед и назад... В заключение — стакан воды!.. Переборол я себя, стал глотать, но чувствую, горло еле разжимается, — ведь несколько дней не пил, не ел!

— Так... так... — раздумывал директор института. — есть и благоприятные признаки, есть и другие.

— А анализы, — не удержался я, — для них я и ехал!

— Какие там анализы? Мы производим их только над трупами. Слюна ничего существенного не дает. И болезнь эта такая странная: бывают случаи, когда человек передает заразу другим, не заболевая сам...

Я настаивал, что ехал для анализов, для них только и вытерпел такое путешествие в распутицу, перенес столько усилий, трения нервов... Доктор понял, что я еще не опасен, но устал, взволнован, и что мы люди одного круга, с высшим образованием... Стал он говорить со мною более откровенно, доброжелательнее, отпустил даже фельдшера, поверив, что я не буду кусаться. Оказалось, что сведения о взбесившемся, будто бы, человеке в Гостеприимной до него уже дошли, и он думал сначала, что именно меня и пристрелили.

— Что поделать? — он пожимал плечами, — положение жителей там тоже не сладкое! Каждый год из Благовещенска шлют к нам по несколько человек, и все должны проезжать через их станцию.

— Что же вы будете делать со мной?

— Прививки. Ничего другого не остается, только...

Тут он меня ошеломил. Оказалось, что болезнь эта до сих пор была недостаточно изучена в России, что надо прививать заразу, если время не упущено и если имеются хорошие реактивы. Он мог бы теперь же начать делать в течение тридцати дней по одному впрыскиванию в день, но критический срок для укуса в голову миновал вчера и, в общем, я не производил впечатления зараженного... Как бы хуже не стало? Надо бы сперва убить собаку и убедиться, больна ли она действительно, а этого не сделали.

— Значит, вы можете заразить меня вашими прививками?

— На то они и прививки, чтобы действовать, если хороши... В слабой степени, понятно!.. Может случиться, однако, что они вызовут и нежелательные явления.

— Бог знает, что вы говорите, доктор! Как же я могу согласиться на такое лечение?

— Вашего согласия и не требуется, — усмехнулся он, — закон сильнее вас. У меня есть предписание делать прививки, вы сами же привезли его... Будь это три года назад, я не стал бы и раздумывать, мы получали тогда препараты из Японии, отличного качества и немедленно. Теперь же нам присылают их из России, ждем их месяцами, они стареют, да и продукт неверный.

— Что же делать, доктор? — мои надежды на Пастеровский институт разлетались в прах.

— Сам я ломаю голову над вашим случаем. Укусы в затылок не прощают, но критический срок миновал. Прививать нам старые препараты, продержат вас тридцать, сорок дней... Как вы их перенесете? Не сделать бы хуже... Как бы я поступил на вашем месте? Надо подумать... Скажите, вы командированы на казенный счет? В Японии не бывали?.. Там — другое дело!

У них такие способы, о которых мы и не подозреваем. Япония в смысле бешенства была самой опасной страной, — они создали всюду институты и поставили это дело, как нигде в мире. Вот, что я сделал бы, если бы, на несчастье, оказался в вашем положении...

А что мне оставаться? Сидеть во Владивостоке в полной неизвестности, заражен я или нет, выпрыскивать в себя старые препараты, которые могли и заразить меня, если я был здоров? Нет, лучше сесть немедленно на пароход, получив заграничный паспорт, рекомендации и визу при содействии доктора, сделать в Японии все необходимые анализы и вернуться через неделю, посмотрев заодно незнакомую страну, такую интересную, заманчивую, да еще на казенный счет! Вы бы, господа, разве не так же поступили?

VII

Рейсы между Владивостоком и Нагасаки поддерживались в то время по очереди русскими и японскими пароходами, — на этот раз должен был идти «Великий Князь Александр Михайлович» и, на мое счастье, в тот же день.

Навестить брата я не успел, для этого нужно было ехать на Батарейную гору или полуостров, пересечь залив на шлюпке, а времени не было. Не смог я даже купить себе штатского платья, выехал как был, в путевой форме, да и то из-за процедуры с заграничным паспортом еле поспел на пароход.

Доктор провожал меня всюду, помог уладить затруднения с отъездом за-границу, обнадежил, что в Японии я куплю себе штатское платье и лучше и дешевле. Поблагодарил я его за содействие, помахал ему на про-

щанье фуражкой с борта парохода, пожалел даже, что покинул так скоро Владивосток.

— Вернетесь через недельку, — утешал он меня, стоя в русско-японской толпе на пристани. — тогда и погуляете в нашей приморской красавице!

На прощанье он вручил мне пакет для японского института в Нагасаки, куда я должен был обратиться от его имени. Какой-то знакомый долго переводил ему на английский язык это послание, содержание которого мне не было известно: обычная рекомендация, как мне казалось.

На Владивосток я посмотрел тогда лишь с парохода. Вид замечательный, сказочный, — день как раз был солнечный, весенний, без малейшего ветра. Полюбовался я немного, посмотрел на пассажиров, да и заснул в своей каюте... Спал, как убитый, чуть не до самой Японии. Поднялся на палубу часов через двадцать: мы шли уже по бесконечному японскому рейду. Буксиры, пароходы, весельные и парусные лодки, всюду, во всех направлениях!

Долго входили мы в самый порт Нагасаки, с заводами по берегам, расположенный где-то между островами. Причалили, наконец, к русско-японской пристани. Грузов у нас было мало, пассажиров и того меньше; оказался я на берегу одним из первых. На пристани бродили европейцы, вероятно русские, но больше было японцев, чиновников, военных, рабочих, кто в европейских костюмах, кто в своих, национальных. Картина красочная, занимательная; обстановка необычная, да рассматривать ее мне было некогда. Японцы-переводчики, русские, швейцары отелей, какие-то другие штатские предлагали свои услуги, совали в руки записки, старались положить в карманы карточки, объявления отелей, магазинов, «чайных» заведений.

Кое-кто из японцев на пристани говорил и по русски, — быть может, одни затверженные фразы.

Еще во Владивостоке доктор указал мне отель, где я мог бы остановиться в Нагасаки. Я доехал до длинной вереницы рикшей, следуя за носильщиком с моим чемоданом на плече, до ряда извозчиков и автомобилей и покотил в первый раз в своей жизни... на человеке! Ощущение — смешное. Кругом все — как бы игрушечное: колясочка маленькая, узенькая, хрупкая; возница-япончик еще меньше, дома крошечные. Но дорога хорошая, мостовая гладкая и везти, мне казалось, было нетрудно, особенно при силе ног моего японца: пятны его были высоко подвернуты, — хоть анатомию ног изучай! Возил он, видимо, не мало лет.

На город я почти не смотрел, не до того было. Видел мельком, что улицы — как улицы, только очень чистые, дома — как дома: то европейские, то японские, а то и похожие на китайские, как в Сахальяне, где я бывал не раз.

Народу — масса: мужчины, дети, женщины. Японки — презабавные! В национальных костюмах, с огромными бантами на спинах, с удивительными прическами, с зонтами и с сумками, возможно для провизии, а еще комичнее они — в европейских платьях.

По некоторым улицам рикши бежали в два ряда, мгновенно повиновались полицейским сигналам, смеялись, перекликались, утирали мокрые лбы; автомобили, велосипедисты перегоняли рикшей, трубили, перезанимались.

Бросил я в номере мой чемодан, спустился вниз и, по совету швейцара отеля, взял там же переводчика-японца. Небольшого роста, молодой, огромные очки с квадратными стеклами в странной оправе; он все время улыбался мне, был приторно вежлив. Говорил по-

русски не плохо, бывал, оказывается, в Манчжурии до войны, а чем занимался там — не упомянул. Адрес на моем конверте был ему известен. Я хотел взять рикшу и для переводчика, но тот предпочел бежать рядом, рассказывая на ломаном языке, что именно он покажет мне в Нагассаки, куда поведет вечером, и несколько раз спрашивал, не думает ли капитан, то-есть я, взять себе жену на время, пока будет в Японии?

Дорога оказалась длинная. Давно уже мы миновали город, дома теперь встречались низенькие, почти исключительно японской архитектуры; прохожих было мало, рикшей почти ни одного. Остановились мы перед воротами бесконечного каменного забора. Перед входом — часовая в матросской форме, с ружьем. Увидев вежливые поклоны переводчика, он свистнул: из ворот появился другой, чином, видимо, повыше. Тот переговорил с переводчиком, прочел с трудом адрес пакета и сделал мне любезный знак пройти в ворота. Вошел за мной и он, — и ворота захлопнулись.

Матрос шел быстро вперед, я за ним, мимо каких-то длинных зданий европейского типа, должно быть казарм. Время от времени нам встречались военные, матросы, чисто одетые, вежливые, и отдавали честь, уступая дорогу. На большом плацу, обсаженном деревьями, шло ученье, группами и в одиночку; слышалась команда; матросы, солдаты маршировали, — а мы проходили мимо, пропуская одно здание за другим.

Дошли мы, как мне показалось, до последнего, и моряк попросил меня знаком подняться по ступенькам. Тут попали мы в большой зал, чистоты ослепительной, но пахнувший больницей, с голыми крашеными стенами, блестящим полом и лавками вдоль стен. На них сидело несколько матросов, два-три штатских, с одним из которых разговаривал японец в очках и во всем бе-

лом тоже чистоты изумительной. Мой провожатый отдал честь, передал пакет, который я привез, вновь откозырнул и вышел. Японец спросил о чем-то, но я не понял ни пол-слова; через минуту по его звонку появился япончик еще меньшего роста, как игрушечный, опять во всем белом; этот беголо заговорил со мной по-английски.

— Русски, русски! — сообразил он, наконец, беспрестанно улыбаясь, кланяясь и потирая руки. Он вышел в комнату рядом и вернулся с другим, ростом повыше, в таком же больничном одеянии и тоже в очках. Этот, оказалось, говорил по русски и понял сейчас же, для чего и откуда я приехал. Беспреданно улыбаясь, он кланялся, поддакивал, и пригласил меня в другой зал, где публики не было, — лишь пять-шесть японцев в безукоризненно-белых халатах, все в очках. Японцы успели уже ознакомиться с посланием, которое я привез от владивостокского доктора, и подобострастно смотрели на пожилого врача, довольно высокого роста, в золотых очках, кланяясь ему почти до пояса, всякий раз как он обращался к кому-нибудь из них.

Меня попросили раздеться за шпрмой, оставив лишь гальсоны. Начался осмотр, — все они были, очевидно, медики, доктора, ростом же ни один не доходил мне до плеча. Осматривал меня сначала самый старший, глубокомысленно сжав брови, за ним по очереди все остальные (их было шесть или семь), серьезно, каждый раз с любезными поклонами.

Тут вот я был удивлен, да так, что и сказать не сумею! Смотрели они мой лоб, затылок, куда Бернар укурил меня, щупали пульс, надували по очереди воздух в повязку на моей руке, чтобы определить артериальное давление, смотрели язык, подносили огонь к глазам, стучали по коленам... Прodelывали все с глубочайшим

вниманием, слушая, что говорит старший, и каждый раз кланялись ему, но делали они все то же, что и русские в Благовещенске и во Владивостоке!.. «Когда же будут испытанья?» — думал я, терпеливо проделывая все, что они указывали. Сразил же меня, представьте, стакан воды! Его поднес мне доктор, говоривший по русски.

— А анализы? — не удержался я.

— Будут, будут после! — и попросил меня выпить.

Уверяю вас, господа, я чуть не запустил в него стаканом! «За этим-то я ехал?» Дрожу от злости, понимаю уже, что сделал глупость, но как быть, что теперь делать?

Пью, нервничаю, зубы стучат о стекло, горло судорожно сжимается, — не допил! А японцы уставились через очки, глаз не спускают с моего горла... Одеваясь, я слышал, как говорил, вероятно, старший отдавая распоряжения на странном, непонятном мне языке. Когда я вышел из-за ширмы, в кабинете оставалось лишь двое, старший в золотых очках и тот, который говорил по русски.

— Господин директор просит передать вам, что прививки начнутся сегодня-же, — объяснил мне, улыбаясь, японец: — Именно так, как наш коллега из Владивостока и просил господина директора, — поклон в сторону пожилого врача.

— Виноват, я хотел бы удостовериться сначала, заражен ли я? Ведь двенадцатый день, как я укушен! Если здоров, зачем же прививать мне бешенство?

— Необходимо, необходимо! — перевел он сейчас же: — Нужны прививки, нужны!

— Я не хочу прививок, если не болен.

— Ничего нельзя сделать! — передал он ответ директора: — Таков закон! В Японии очень строго в от-

ношении бешенства. Прививки начнутся сегодня же. Они не болезненны. Распоряжения сделаны. Вы не будете нуждаться ни в чем.

— Сколько же времени они будут продолжаться?

— Тридцать дней, если немедленно привьются. За вами будут хорошо ухаживать. Может быть, придется сделать и дополнительные. Это нам покажут анализы.

— Где же я буду жить? В отеле?

— Здесь, здесь! Выходить нельзя, — клапается, улыбается, но тон решительный, — в Японии очень строго. У вас все будет.

. Тут только я понял, куда я попал, в каком положении очутился. Понял и похолодел.. В чужой стране, без языка, без знакомых, в казарме, под военной стражей. Арестован! Опасен для всех!.. Отношения с японцами у нас тогда, после русско-японской войны, еще не были хорошие. Для них я был чужестранец, недавно еще враг, европеец, сданный на их усмотрение, как нежелательный в России. Что станут они со мной делать? что будут прививать? какие проделывать опыты?

Вы, господа, может быть, и не знаете, что некоторые болезни действуют различно на белую и на желтую расу. Мне говорили в Сибири, что есть, например, один вид сифилиса, который переносится японцами шутя, для белых же он смертелен, и в самый короткий срок. Его поэтому и называют у нас молниеносным. «Что», думаю, «если они начнут проделывать надо мной свои эксперименты заодно с прививкой? Отвечать ведь не придется: не перед кем! И для этого я приехал? Подвел меня директор Пастеровского института, оттолкнул от себя опасный случай, как футбольный мяч, который подбросили ему коллеги из Благовещенска, желая избавиться от неприятностей... А я поверил латышу, что японцы и в самом деле обладают другими методами.»

Что же оставалось делать? Одно — хитрить, выиграть время!

— Хорошо, — совладал я с собой, — но я прямо с парохода. Мне необходимо еще заехать в русское консульство. Я инженер, чиновник правительства, у меня есть официальное поручение. Попросите господина директора, не может ли он отложить прививки до завтра?

Тот передал и с низким поклоном выслушал ответ.

— Господин директор согласен дать вам сегодняшней день, чтобы исполнить ваше официальное поручение у господина консула. Кстати, завтра утром наш госпиталь удостоится посещения известного профессора из Токио, гордости Японии. Он, возможно, пожелает познакомиться и с вашим случаем, таким любопытным для науки. Прививки начнутся после посещения господина профессора. Вы должны быть здесь в девять часов утра, закончив все ваши дела в городе.

— Передайте господину директору мою благодарность.

Тот же доктор, или ассистент, говоривший по-русски, проводил меня до выхода из казармы и отдал распоряжение старшему у ворот моряку-стражнику. По команде дверь отворилась, часовой отдал честь ружьем, я оказался временно на свободе.

VIII

Признаюсь, еле взобрался я на свою детскую колясочку, — так поразило меня глупейшее положение, в котором я очутился, и опасность, которой я подвергался, опасность, может быть, и вымышленная, но в ту минуту казавшаяся мне реальной, неминуемой... Я сказал, чтобы возни меня в отель; но дороге — не по-

нял ни слова из болтовни переводчика. Впрочем он стал менее словоохотлив, — вид мой, я думаю, удивил его. Да и место, где мы только что были, заставляло призадуматься. «Как же быть?» — размышлял я всю дорогу: «Избежать прививок! Во что бы то ни стало избавиться от японского госпиталя! Но как?.. Мой случай, случай с европейцем, да еще с русским, понятно, интересует японских врачей. Пациент к тому же здесь, под рукой, как морская свинка, даже тащить его не надо из клетки — сам притти должен завтра к девяти утра... Будут еще показывать его какому-то профессору, изучать реакции, проделывать опыты над европейскими органами и чувствами, — они ведь во многом отличаются от японских... Не пойти? — моментально отыщут: Япония страна организованная. Бежать? Но куда? Без языка, ни одного знакомого, море кругом... Да что ж это я! Конечно, обратно — в Россию, на пароход!»

Тотчас же стал я действовать. — «В русское консульство!» — приказываю переводчику. По пути обдумал, как избавиться от него и от рикши. У входа в консульство отпустил обоих, пообещав им, чтобы скорее отвязаться, поездку в «чайный домик», которую переводчик усиленно навязывал мне. В приемной я поговорил с каким-то русским, подождал немного, читая объявления, и вышел на улицу: мои японцы улетучились. Повернул я в другую сторону, с трудом сдерживаясь: ноги сами переходили на рысь! Сумел сказать по-английски свободному рикше, чтобы вез меня к пристани.

Пристань — длиннейшая; не спускаю глаз с пароходов, разыскиваю знакомый силуэт «Александра», — не ушел же он за эти два, три часа! Нет, вот и он. Стоит на прежнем месте, серый дымок валит из трубы. Лебедки шумят, пускают клубы пара, идет разгрузка. На пароходе никого, кроме рабочих; пассажиры сошли.

полиция, агенты разбрелись в разные стороны, лишь дежурные на судне... Хожу около его борта по пристани... «Как бы попасть на пароход», думаю.

— Забыли что-нибудь? — голос лакея с палубы. Ялыбается, кланяется; с ним я сюда и приехал.

— Бумажник обронил. Не в каюте ли? Не находили?

— Нет, не видел. Завалился, может... Да посмотрите сами.

Поднимаюсь по сходням.

— Деньги, или бумаги? Без бумаг в Японии — крышка.

— Бумаги! Были и деньги.

Лакей качает головой, соболезнует. Ничего, понятно, в каюте не нашли.

— Как же вы будете? в Японии-то? На этот счет здесь строго.

— В том-то и беда! Пропали она пронадом — Япония... Да вы когда уходите? Завтра? в одиннадцать? Не можете ли спрятать меня куда-нибудь? хоть в угольную яму?

Даю ему сторублевую бумажку...

Теперь, господа, это звучит слабо — кого интересует такая сумма? Но по курсу девятьсот одиннадцатого года, бумажка в сто рублей, «катенька» по нашему, составляла тринадцать золотых наполеонов и горсточку серебра в придачу. Подумайте, что можно было иметь на эти деньги, даже в Париже! А в России? Ведь хороший служащий работал за семьдесят пять рублей в месяц, билет со спальным местом от Петербурга до Владивостока стоил восемьдесят рублей, а городской получал в месяц двенадцать рублей на всем своем!

Упирался мой будущий спаситель недолго. Пассажи-ров ожидали мало, никто и внимания не обратил на мой

приход, японцы же, если кто из них меня и видел, могли принять по форме за одного из служащих судна..

— Только, барин, сходить теперь нельзя... Есть и пить я сам буду приносить вам

Устроил он меня в бельевой каюте, ключ от нее остался у него.

— Билета брать не надо, — он подумал обо всем, — когда выйдем из японских вод, я вам все устрою.

Из бельевой каюты я не вышел в течение почти целых суток, не подходил и к иллюминатору. Я сидел, обложенный кипами вымытых и переизятанных веревкой простынь, полотенец, так, чтобы меня не нашли, если бы полиция и решила осмотреть пароход, как следует. Мой спаситель приносил мне еду, а ночью я даже прогулялся по коридору в междупалубном пространстве.

Временами мне сдавалось, что я сделал глупость, бросив свои вещи в отеле и обманув переводчика и докторов. «Завтра-же», мелькало в голове, «они станут разыскивать меня и вспомнят о русском пароходе... Да, но могут подумать, что болезнь схватила меня где-нибудь неожиданно и что теперь я бегу по окрестностям Нагасаки, кусаюсь». Во всяком случае, другого решения не оставалось. Не мог же я, изобразив из себя кролика или морскую свинку, позволить впрыскивать в себя какие-то препараты, служить в течение шести-семи недель предметом изучения для любознательных японцев? Всю жизнь потом остаться с этими прививками в крови, а в те времена они были еще и мало изучены...

«А если найдут?» — опять приходило в голову: «Ведь при малейшем сопротивлении японские полицейские убьют меня, как бешеную собаку! Не станут и пытаться взять живым, опасаясь, что я могу покусать их... Пулю в лоб, и никаких разговоров!» Впрочем, луч-

ше пуля, чем это издевательство! — решил я, наконец, успокоившись немного и считая часы и минуты до отхода парохода.

«А там?.. Что будет во Владивостоке? Схватят, пожалуй, при высадке с судна! У пассажиров проверяют бумаги, паспорта: японцы, конечно, сообщат по телеграфу об убежавшем русском бешеном. Если и там я сделаю хоть малейший жест сопротивления — убьют на месте!.. Или покориться сразу? Может, и не ухлопают, только свяжут для безопасности и отвезут к знакомому уже мне доктору-латышу в Пастеровский институт?»

— Только бы, барин, нам из японских вод выйти! — заботливо говорил мой спаситель лакей. — Я уже рассказал старшему офицеру, он закрывает глаза. Лишь бы японской полиции не попасться. А во Владивостоке вы заявите, что потеряли бумаги, вам и дадут новые. Ну, а деньги — дело наживное! Кушайте пока что, да сил набирайтесь, лица на вас нету.

Бедный малый и не подозревал, как далек он был от истины, а лица на мне, возможно, и не было, — положение мое, господа, согласитесь сами, было хуже пария!

Ночь, к счастью, кончилась. Рано утром закипела работа, пароход готовился к отходу. Грузили, кричали, шумели, что-то падало, стучало; время приближалось к девяти часам утра. Мысли мои были в японском госпитале, в знакомом мне зале, в приемном кабинете. Я пытался отгадать, что сделают японцы, когда и какие меры примут... «В течение получаса, понятно», думалось мне, «они будут ждать, зная русскую неаккуратность, но затем?.. Позвонят в отель, им скажут, что я не почивал дома, не возвращался даже, но что вещи мои остались в номере. Заявят сейчас же в полицию или полагают, что я закатился в какой-нибудь чайный домик,

закутил по европейской привычке, да еще перед лечением?.. А доктора ждут профессора из Токио, которому хотят представить интересный для науки случай с русским... В какой момент поставят они на ноги японскую полицию? и что велит им закон в этом случае? Ясно — задержать, связать, может быть — убить на месте, если бы я вздумал сопротивляться. Успеет ли мой пароход отойти?»

Отправление из Нагасаки было назначено в одиннадцать. Лебедки работали, не переставая; рабочие, матросы, русские, японцы грузили, разгружали, готовились к отходу. Корпус парохода шумел, резонировал, слегка покачивался от волн проходивших по заливу судов... После десяти часов оживление усилилось, движения стали поспешнее, первичее. Слышались голоса на пристани, шумели в коридорах, несли пассажирский багаж, продували машины, отчетливо звучали шаги, кто-то поспешно пробегал по палубе, стуча сапогами... «Пассажиры или полиция?»

Так дожид я до одиннадцати часов. А сигнала отхода все нет! Нет его и через полчаса... Сомнений не оставалось — судно задержано! Но в следующий момент послышался гудок, сначала хриплый, полный влаги, потом — оглушительный, протяжный. От первого до третьего сигнала время показалось мне вечностью, но я пережил его, хотя, наверное, за эти мгновения состарился раз в сто скорее... Пароход стал покачиваться, тросы отпустили, машины заработали... Спасен!

IX

Радость моя, увы, была непродолжительна, пришлось мне тогда испытать еще один удар, да какой! Не прошло и получаса после отхода парохода из Нагасаки,

— я даже вылез из груды чистого белья и, стоя на койке, рассматривал через иллюминатор берег с фабриками, проходившие суда, оживление на рейде (надо же было мне увидеть хоть что-нибудь в Японии!) — вдруг вой сирены... Наш пароход загудел в ответ, убавил ход... Прильнул я к иллюминатору и, представьте себе мой ужас: догоняет нас, вижу, быстроходный катер с группой японцев в формах. Катер — официальный, портовой. «Полиция!» — мелькнула мысль: «Снимут меня с судна, съжгут и в лазарет!» Сердце мое больно сжалось, перестало, казалоcь, биться... Ни за что на свете я не хотел допустить привизок, ведь тринадцать дней прошло со дня укуса и я был уверен, что никакого бешенства у меня не было, что я не заразился им. Что же, оставалось? Только — вырваться из рук полицейских, броситься в море, утонуть!..

Катер, очевидно казенный, был совсем близко, японцы перекликались с нашей командой. Он приблизился к борту и один из японцев-матросов багром ловко подал к нам на палубу какой-то пакет; катер взял резко в сторону, а наш пароход прибавил ходу, дав сигнал. Сердце мое чуть не лопнуло — тревога была напрасна!

Долго не вставал я потом с постели каюты, уже настоящей, куда перевел меня мой спаситель. Я слушал его, — он, оказывается, успел рассказать о моем случае кое-кому из прислуги, — и я поддакивал его предположениям, что японцы, вероятно, сами утащили мой бумажник, думая найти в нем важные документы.

-- Письмы они на этот счет ловкие, -- утешал он меня, — на ходу подметки режут!

Незаметно покинули мы японские воды, очутились в нейтральном море. Пришел навещать меня один из офицеров судна; тоже хотел меня успокоить: случаи такие де бывают, во Владивостоке русская полиция вы-

даст мне временный вид на жительство, и все будет в порядке. Поблагодарил я его за сочувствие и заснул как убитый, почти до самого владивостокского Золотого Рога.

Положение мое, однако, не было блестящим, хоть и значительно улучшилось; все же в своей стране и с языком! Неприятной, омерзительной казалась мне сама процедура ареста, скандал, публика, все остальное... Ломал я себе голову, как быть, но выхода не видел. А сомневаться нельзя было: японцы дали телеграмму во Владивосток о моем бегстве, и пароход будет обыскан сверху донизу. Куда тут спрячешься? В Японии я нашел покровителя, защитника, благодаря русскому доверию и ста рублям, а в России? Он первый и выдаст меня, как узнает правду... Да если бы и удалось сойти незаметно на берег (как — я пока этого не видел) — где мог бы я там спрятаться? Ведь в гостиницу и заявиться невозможно, не прописываюсь. Кстати, господа, в мое время было там замечательное учреждение, — если не ошибаюсь, по всей России: адресный стол. В любом городе вы могли пойти в адресный стол (или просто написать открытку) и получали немедленно адреса всех, кто почему-либо интересовал вас, или сведения, куда и когда они выехали.

При такой организации полиции скрыться во Владивостоке было невозможно. Я думал, раздумывал, но выхода не находил.

Помог мне, и в этот раз, слепой случай. На пристани я увидел морского врача, моего товарища по гимназии: он узнал меня, обрадовался, — с ним вместе под руку я и сошел с парохода, «кумом короля», как говорили когда-то в России. Никто ни о чем меня не осмелился спросить: высоко стоял тогда престиж офицерской

формы. Полиция же, таможенники, какие-то японцы с обеих сторон окружали сходни, впивались глазами в каждого, рассматривали бумаги, вещи... Об этом, впрочем, я расскажу вам как-нибудь в другой раз, теперь же упомяну только, что в гостинице я и не прописывался, нигде не останавливался и своих бумаг никуда не предъявил. Вместе с русскими морскими офицерами я провел почти весь день на немецкой эскадре, которая пришла тогда во Владивосток, а вечером мы обедали все вместе на берегу, русские и немцы, кутили, безобразничали по кафе-шантанам, забавлялись, кто во что горазд, в домах увеселений, да так, что я оказался утром в петербургском экспрессе, нигде и не заявив своего имени!

Через девять суток приехал я в тогдашнюю столицу, пошел к одному адъютанту Военно-Медицинской Академии с письмом моего товарища из Владивостока. Прodelали там надо мной все, что медицина считала тогда нужным. В этот раз я смог выпить даже два стакана воды и не поморщился, — двадцать дней с лишним прошли после памятного для меня укуса, нервы мои успокоились и чувствовал я себя отлично. Выдали мне после этого осмотра удостоверение, что я вполне здоров... Тогда-то и закончилась моя роль пария.

Вот, господа, и вся история... Заговорился я, впрочем, — африканский берег уже виден отлично, — скоро и Тунис.

Пассажиры высыпали на палубу. Во время перехода большинство из них предпочитало отлеживаться на койках, — лучшее средство от морской болезни, — теперь же они теснились, любопытствовали, разглядывали африканские постройки, восторгались, что переход был от-

личный, хотя они де морской болезни и не боятся, не те что другие... По палубе пробегали матросы, новобранцы — они ехали на службу в Тунис, искали товарищей, начальство. — требовалась какая-то подпись...

На судне — суета, обычная перед приходом в гавань: вытаскивали чемоданы, складывали вещи поближе к выходу, мешали друг другу, — хотелось поскорее покинуть предательский пол парохода: твердая почва, хотя бы африканская, куда лучше для французской натуры....

Новые знакомые оставались еще у борта, рассматривая берег, постройки. Берег — низкий, песчаный, лишь вдали — горы Загуана, да Корбус синее направо.

— Там, господа! — пассажир указал офицерам на постройки у моря, — «Ля Марса», по имени которой и названо наше сибирское судно. Это — пляж тунисцев, магометан. Налево же от нас — Крам, тоже дачное место, почти целиком еврейское. Впрочем, магометане и евреи живут в Тунисе дружно, не такъ какъ в Палестине, — те и другие того же арабского племени, хотя и разных религий; да и то, до Магомета, арабы были те же евреи, как и первые христиане.

Перед нами видите, Карфаген! От него нечего почти не осталось, — а когда-то здесь был огромный город, морской порт, арсеналы: Карфаген торговал со всеми народами Средиземного моря, его моряки выходили и в океан, посещали и другие моря... Теперь там одни развалины: пунические, римские, арабские, а на них — виллы европейцев, утопающие, как видите, в пальмах и в буганвиле, пунцовые красочные листья которых принимаются обычно за цветы.

Там вон, в арабской деревушке Сиди-бу-Санд, дворец Дар-Зарук, принадлежавший арабу, который споспосествовал договору в Бардо, то есть протекторату Франции над Тунисом. Сейчас дворец этот превращен в кафе и в ресторан. Вид оттуда — замечательный. Побывайте на до-

суге — не пожалеете! По части же археологии, развалин, в Карфагене смотреть нечего: проезжайте в Дуггу, Аин-Сбейтла и другие места, — их здесь не мало...

А перед нами и сам Тунис, красивый даже летом, зимой же — очаровательный. Пароход наш пойдет сейчас каналом, вырытым в середине тунисского озера. Рыбы здесь хоть отбавляй, но запах — ой! какой! И на всех отмелях — розовые фламинго, почти всегда на одной ноге... Красивы, не правда ли?.. Что-же, господа юяки, пойду и я собираться. Встретимся, поговорим и о России, расскажу, что припомнится...

— А что случилось с Бернаром? — поинтересовался, прощаясь, офицер-спаги.

— С Бернаром?... Я и забыл сказать: в Всенно-Медицинской Академии меня попросили для верности дать депешу моему приятелю в Благовещенске, чтобы узнать с собаке. Ответ был приблизительно такой:

«Здоров вам кланяется точка к сожалению со времени вашего укуса характер Бернара стал портиться боимся заразился».

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие И. А. Бунина	5
«Марса Вторая» (вместо вступления)	9
Страна возможностей необычайных	21
Аслан-Бек	113
Охота на тигра	153
Страшная история	205

